

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

МАРТ
СЕМНАЦАТОГО
КНИГА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 3.
Март Семнадцатого. Книга 2**

«WebKniga»

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 3. Март Семнадцатого. Книга 2 /

А. И. Солженицын — «WebKniga», — (Собрание сочинений в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1046-5

Во второй книге «Марта Семнадцатого» читатель погружается в бурные события второй недели Февральской революции, весть о которой облетела всю Россию через телеграф министерства путей сообщения. Ставка шлёт полки против Петрограда. А у Таврического дворца победные речи. Одновременное формирование двух новых властей: Временного Правительства и Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Государь спешит из Ставки в Царское Село, к семье. Исполком рассылает разрушительный для Армии «Приказ № 1». Ставка отзывает полки, посланные на подавление. Отречение Николая II. Царских министров – в Петропавловскую крепость.

ISBN 978-5-9691-1046-5

© Солженицын А. И.

© WebKniga

Содержание

Узел 3	5
Двадцать восьмое февраля	5
171	5
172	7
173	8
174	9
175	13
176	16
177	19
178	24
179	26
180	28
181	30
182	33
183	38
184	40
185	43
186	44
187	46
188	48
189	49
190	52
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Александр Исаевич Солженицын
Красное колесо
повествование в отмеренных сроках

Узел 3
Март Семнадцатого
23 февраля – 18 марта ст. ст
Книга 2

Двадцать восьмое февраля
Вторник

171

Заботы Шляпникова. – Спасать Горького!

Всё же в Исполнительном Комитете Шляпников продвинулся неплохо: доверена ему была вся Выборгская сторона и сколачивать рабочую милицию. Сколько он мог сообразить своей бессонной, уже помрачённой головой, это была реальная и важная победа: вооружённая Выборгская сторона будет весить больше, чем любое голосование в Совете депутатов, и уж конечно больше, чем вся эта Государственная Дума. Как любит выражаться Ленин – *главное звено*. И вот показалось теперь Шляпникову, что он это главное звено ухватил.

А может – не его? А может – не главное? Если пойдут дела и дальше как сегодня – то сразу хлынут эмигранты. И быстро приедет Ленин – и станет за каждую ошибку бранчиво, обидно выговаривать, по своей въедливой манере. Шляпников заранее сжимался, представляя эту грызуху.

Но так вдруг просторно раздвинулись события и возможности – поди догадайся, какую седлать.

Кончилось безтолковое заседание ИК уже под утро, Шляпников на что силён, а пошатывался.

Надо устроить своё постоянное дежурство здесь, в Таврическом, чтоб о каждой новости сразу же узнавать. Но даже на это нет человека, не придумаешь подходящего кого. Разве что Стасову пристроить? (Она из ссылки приехала осенью в Петербург, для свидания с престарелыми родителями, и зацепилась тут.) Хотя б на дневное время: пусть ходит как на службу и здесь высматривает. И назовём – секретариат ЦК? Она ещё какую девчёнку приспособит.

Ну, ехать поспать. Теперь уже не пешкá мерить, теперь Шляпников мог взять и автомобиль.

Но тут подбежал студент от телефона: сейчас звонили, что на квартиру Горького нападение банды!

Вот те на! Так и кольнуло! И правда, не могло быть всё слишком уж хорошо. Так и должно было случиться: заметная революционная фигура! Алексей Максимыча – никак в обиду дать

нельзя, он – как лучший партийный наш, он больше наш, чем меньшевицкий. Он – и деньги даёт, он в Девятьсот Пятом на своей московской квартире в дни восстания содержал тринадцать грузин-дружинников, и бомбы у него делали.

Большевицкий закон: своих – надо выручать!

Застёгивая пальто и нахлобучивая шапку (не снимал их и все часы заседания в тёплом дворце, некуда деть), – вышел наружу.

В сквере перед дворцом горело три костра, около них грелись. И там-сям солдаты.

– Я – комиссар Выборгской стороны! – закричал Шляпников не так громко, уже голоса не было, но с новым для себя тоном, новым правом распоряжаться громко вслух. – Есть автомобиль?

И сразу тон его услышали и поняли (никто б из думских так бы крикнуть не посмел), подбежало несколько солдат-доброхотов, всё им лучше, чем мёрзнуть:

– Есть автомобили! Куда ехать?

Уже вели его к одному.

– А чей автомобиль? – просто так, для интереса спросил Шляпников.

– Военного министра Беляева! Со двора увели.

Вот и шофёра в полушубке расталкивали за рулём.

– Я член Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов! Заводи машину! – Отступил и крикнул: – Эй, ребята! Кто поедет на Петербургскую сторону, задание есть!

И сразу побежала от костра дюжина охотников. Трёх с винтовками впустил на заднее сидение, сам сел спереди, дверцу захлопнул, двое сейчас же легли на подножки, винтовками через крылья вперёд.

Па-й-йехали!

Улицы были малолюдны, но жили. Где-то изредка постреливали. То погуливали с винтовками, гурьбой. То навстречу, то стороной проносились грузовики и гудели, в кузовах торчало по несколько людей со штыками. Пешком пробирались и напуганные обыватели.

Гнал шофёра, гнали дальше: что там с Горьким? успеем ли отбить Максимыча?

Ну мог ли Шляпников вчера, перепрыгивая у Павловых, представить, что в следующую ночь будет ехать в автомобиле военного министра?!

Около пожарища Окружного суда – ещё сильно калилось, и пар от уличного снега – их остановили расспрашивать и кричали «ура», – а потом они дёрнули без остановки по Французской набережной и взлетели на пустынный Троицкий мост.

Если б не зарева за спиной, а впереди темно, нет, один есть пожарчик сильно налево, это наверно Охранное, да если б не встречный шальной грузовик на мосту со штыками, – ночь была как ночь: снежная в черноте Нева, тёмная Петропавловка, редкие цепочки фонарей там и здесь – обыкновенная петербургская ночь. Вот только зарева.

Оглянулся налево за спину Шляпников: вся полоса дворцов была совсем темна, и Зимний – тоже.

А небо – чистое, звёздное, морозное.

Большим крюком объехали Петропавловку, сбросив огни, чтоб не привлечь на себя стрельбы. Нырнули в тёмный Кронверкский.

Вот и дом Горького, в темноте его Шляпников узнаёт.

Внешне – погрома не видно. Все окна тёмные. Парадное заперто.

Но нельзя так оставить. Стал громко стучать.

Швейцар не сразу вышел. Потом открывать не хотел. Но, увидя штыки, открыл.

– Что там у вас? Какая банда? Был налёт?

– Ника-кого.

Шляпников не поверил. Метнулись по лестнице.

И перед дверью Горького – ненатопанный пол, чистота, тишина, никакого разгрома.

Шутники какие-то обманули?

Но и не уезжать теперь так! Всё же нажал кнопку звонка.

Ещё раз позвонил. Там испуг, переполох: «кто?».

– Это – Шляпников. Мне Алексей Максимыча, простите.

Хоть заверить его в безопасности. Хоть научить, если что – так пусть...

Наконец отворили дверь. За несколькими женщинами – Алексей Максимович в мохнатом халате, сутулясь, недовольный, подморщивая свой раскляпый, утиный нос, жёлтые усы обвисли аж на подбородок, а голос обиженный:

– Ну что-о такое, Алексан Гаврилыч? За-чем? За-чем же вы?

Не пригласил войти, отпустил – и даже не спросил о новостях.

172

Государь в вагоне перед отъездом.

Николай не мог жить без Аликс настолько, насколько человек не может жить с выеденной грудью или отсеченной половиной головы. Сам с большими военными пристрастиями, попадая в атмосферу Ставки, он как будто должен был бы расцветать мужскою военною жизнью, – нет! Уже в первый день он испытывал рассеянность, недостаток, тоску, – и пуст и печален был тот редкий день, когда не приходило от неё письмо. (Зато уж назавтра – всегда два.) А приходило – Николай распечатывал его всякий раз с усиленным биением сердца, и окунался, вдыхал аромат надушенных листков (а иногда были вложены и цветки), – и так тянуло к жене тотчас, сейчас! Как всегда повторяла она, так убедился и он: разлука делает любовь ещё сильнее. И сам он не писал ей письма только в тот день, когда уж было слишком много бумаг или приёмов, – но и над бумагами и во время приёмов он помнил её постоянно, как тем более в часы досуга или прогулок. Только когда он проходил смотром перед выстроенными полками – он забывал её на короткие минуты. Даже присутствие наследника с отцом в Ставке лишь немного развеивало и смягчало эту вечную нехватку разумницы-жены в существовании. Но наследник по нездоровью часто не мог ехать с отцом – и тогда тоскливое одиночество обступало стеною, и даже одна неделя в Ставке казалась годом, а три недели – вечностью, да три недели он почти никогда и не выживал тут, либо уж сама государыня приезжала в Могилёв.

И ещё насколько мучительней были четыре дня, в этот раз проведенные в Ставке: из-за болезни детей и тревожных сведений из Петрограда. Государь перетратился нервами и упорством воли – отказывать в уступках нарастающему сводному хору. Он – перетратился и нуждался скорее соединиться с женой, с которой за 22 года был сращён, как два дерева, разветвлённых из одного ствола.

От момента за поздним чаем, когда Воейков и Фредерикс представили ему тревоги из Царского Села и Николай решил ехать, – сразу стало легче. Когда вошёл в свой вагон близ двух часов ночи – ещё легче. (Но состав будет ещё подготавливаться до пяти или шести утра.)

Оставалось время. Успокоился. А спать ещё не хотелось. И что Государь почувствовал себя обязанным сделать – это поговорить с Николаем Иудовичем о деталях его экспедиции и намерений. Вагоны стояли недалеко, и он вызвал генерала.

Разговором остался очень доволен, ещё облегчилась душа. Какая была в этом старике народная основательность, мудрость и какая преданность своему Государю! На этого человека можно было положиться, смелый боевой генерал. (Теперь пожалел, что в Пятнадцатом году не согласился с женой и не назначил его военным министром, считая слишком упрямым, – может быть, и не было бы нынешних беспорядков.)

Да всё настроение было совсем не тревожное, когда и сам уже ехал туда.

Тут дослали в поезд вечернюю телеграмму Хабалова, что-то очень паническую: что не может восстановить в столице порядка, уже большинство частей изменили своему долгу, братаются с мятежниками и даже обратили оружие против верных войск. И вот – большая часть столицы уже в руках мятежников.

Да может ли такое быть?? Да это вздор немыслимый.

И Николай Иудович тоже так думал, нисколько не обезкуражился:

– Выгоню всех и вычищу! Ваше Императорское Величество, вы можете быть во мне уверены, как в самом себе. Сделаю всё возможное и невозможное!

И борода его лопатная, народная, верная, как бы подтверждала.

Из деликатности Государь, однако, постеснялся спросить у генерала точный час его выезда из Могилёва с георгиевским батальоном, – но очевидно, что уже не в эти ночные часы (хорошо бы!), а рано поутру.

Однако если Иванов начнёт движение своего отряда только утром и из первых целей имеет оборонить Царское Село – то не терялся ли смысл экстренного выезда императорских поездов? Нет, потому что последнее время они ходили другим, более кружным, но и более удобным путём, через Николаевскую дорогу. Пока они совершат этот обход – а Иванов уже и будет в Царском. Да уже было обещано Аликс, что выедет этой ночью. И перед свитой неудобно менять: команда дана, погрузились.

Прощаясь, перекрестил старика-генерала. И трижды поцеловались.

А самое главное: движение поезда уже есть облегчение. Николай нуждался теперь восполниться покоем, душевным отдохновением. И оторваться от этих непрерывных телеграмм и донесений, которые в Ставку просто лились. Меньше известий – меньше решений. Около суток провести без этих волнений – насколько легче! А там – достичь Царского, убедиться, что свои – целы, не захвачены, – и уже в твёрдом состоянии и слитно с Аликс всё решать. Николай не знал, что именно решит и сделает, но во всяком случае там он за несколько часов осмотрится.

После пяти утра в начавшемся движении поезда мерная укачка вагона давала это чудесное совмещение: иллюзии действия и одновременно покоя.

173

Шляпников огородами на Сердобольскую.

Уж надежды поспать не было сегодня никакой – зряшная эта поездка к Горькому как раз перебила последний сонный час.

Да и был же он теперь комиссар Выборгской стороны – значит, надо разорваться, и там успеть, и в Таврический назад успеть ко всем заседаниям. И погнали на Выборгскую. Холодное сиденье подмораживало через пальто. Опять двое солдат легли на подножки. Погнали ещё малолюдным, пробуждающимся освобождённым городом, – освобождённым, вот замечательно! Уж кого не видно, так это городских. И все солдаты сразу стали не вражья сила, а своя!

А на Выборгской – появлялись, наоборот, вооружённые посты рабочих на перекрестках, это уже кто-то из наших ставил. Такой пост перед Эриксоном остановил и его самого: ехать дальше нельзя, самокатчики, стервы, сидят в казармах с пулемётами и сопротивляются, вся дальняя часть Сампсоньевского вымерла, никто не ходит, не ездит.

И что ж думаете делать? Вот собирают силы: пулемёты, но хотят и артиллерию притянуть, чтоб из пушек начисто казармы самокатчиков снести. А уговаривать не берёт? Никак не берёт.

Прямо бить по батальону?

Ещё вчера не знали, спорили: как взять в свои руки оружие? А вот уже оно всё наше!

А московские казармы? Целиком все наши. Офицеров – вчера обезвредили. А межрайонцы тут собрали рабочую дружину: ловить и убивать офицеров поодиночке.

Ну, это их дело, они всюду вперёд.

Но не привык Шляпников у себя на Выборгской стороне даже под слежкой стесняться – а теперь, в освобождённом городе, да неужели ж он на Сердобольскую не доберётся? Он знает здесь не только улицы, но все тропинки на огородах – те наискось сокращения, которые протаптывают и ногами поддерживают даже зимой, потому что людям всегда надо короче. И в этих безликих снежных тропинках нипочём не собьётся.

Оставил автомобиль с солдатами ждать его тут два часа – а сам погнал по тропинкам.

И действительно, люди промётывались по ним с поспешностью. А раза два так близко и низко просвистели пули, что Шляпников хлопнулся оба раза на утопанный снег и перелёжился, смотрел на его бугорки и узоры, отпечатанные ногами.

Лежал на снежном поле одиноко и думал: вот тебе и освобождённый город, член Исполнительного Комитета, комиссар Выборгской стороны. И что за позор: в центре везде обошлось, а у нас на Выборгской...? Нет, надо это кончать, действительно, хоть и пушками.

Добрался, конечно, до Павловых. Конспиративную квартиру их – узнать нельзя: собралась сразу дюжина товарищей, не скрываясь. Галдят открыто, ещё при входе прислонены красные знамёна, готовят древки для новых, в комнатах с избытком навалены добытые винтовки, пашки, патроны.

Марья Георгиевна, руки золотые, свои швейные дела кинула, чем-то их кормит.

И Шляпникову – миску горячих щец.

Та-ак. Что у вас тут? Депутатов в Совет выбираете? Рабочую милицию – собираете?..

А у нас в Таврическом... Трудное дело, братья: надо не прозевать, в эти часы из-под меньшевиков всю почву вырвать.

Из-под кадетов – тем более.

Из-под царя – уж и не спрашивай.

174

Расстрел братьев Некрасовых.

Двое братьев Некрасовых, маленький Грече и пожилой прапорщик из запаса Рыбаков ночевали на квартире штабс-капитана Степанова. На рассвете их разбудил солдат-швейцар офицерского флигеля, перепуганный:

– Ваши высокоблагородия! Надо вам уходить скорей. Уже несколько господ офицеров в цейхгаузе собрания – переоделись в солдатское, ушли. Пришли *вольные*, ищут офицеров, убивать. Я сказал: тут никого нет. Погрозились и меня убить, если наврал. Они – у самого подъезда стоят! Уходите через чёрный!

Военная побудка, привычное дело. Спали одетые, теперь накинули шинели, ещё прежде первого продрога, – сбежали по лестнице. Думали – через плац и во 2-ю роту, где вчера взяли у них пашки и обещали защиту (а револьверы-то свои так и не взяли из собрания!). Но на плацу в брезжущем свете уже ходили рабочие, с винтовками и без винтовок.

Опоздано! – и вырваться некуда.

Вдруг подошёл из швейцарской унтер-офицер, смутно-знакомое лицо, и назвался, что он причетник полковой церкви: не пожалуют ли господа офицеры к нему, там никого искать не будут? А из чёрного хода туда – несколько раз шагнуть, совсем рядом. Ну что ж, пожалуй.

Уж своего ли полкового двора не знали братья Некрасовы, а этого места никогда не замечали. Тут, совсем рядом, стоял полковой склад, длинный, слепой, – а в нём, оказывается, в торце была комната причетника, через глухую кирпичную стену от склада.

Проскользнули туда, пока не рассвело.

Привычный военный глаз осматривал комнату не как комнату, а всё в счётке военной. Узкая и длинная, поперёк всего склада. В одной длинной стене дверь, в одной узкой – окно на церковь, остальное глухо. Через окно почти вся хорошо простреливается, через дверь – только в средней части.

С ними пришёл денщик Всеволода, да внутри уже был какой-то солдат. Итак, всемером.

И стали сидеть. Как в тюрьме. Ждали – час, полтора – чего? Сморчиво. В окно – разбрезжило. И вполне осветлело. Никто не шёл к ним. Но и они ничего не знали.

Решили послать денщика – вообще на разведку, и во 2-ю роту – чтобы фельдфебель прислал за ними своих и вызволил.

Долго ходил, но много и принёс: во 2-ю роту идти нельзя, там набилось рабочих с красными повязками, фельдфебель пикнуть не может.

Вот и отдали им шашки...

А собрание, рассказывал, за ночь совсем разгромили. Картины, портреты посрывали, поразрезали. Люстры перебили. Мебель – переломали, твёрдую, а мягкую – шашками порубили.

А Сергей вчера боялся стрелять из собрания, чтоб его не тронули...

А что ж в своей квартире? Послал узнать. А там стерёг денщик Сергея, оказывается еле отоврался, чтоб не избили его бунтовщики. По клавишам рояля играли прикладами. Растащили сапоги, одежду, бельё. Разделили колодку орденов и куражились, развешивая каждый себе.

Теперь послали поглядеть по казармам: есть ли где офицеры?

Вернулся денщик: нигде ни одного.

Что же делать? Уходить с полкового двора? Переодеваться?

Сходили нижние чины и осторожно принесли всем четверым солдатские шинели. Прапорщик Рыбаков сразу переоделся – неинтеллигентное лицо, от солдата не отличить. Ушёл.

Но братья Некрасовы замялись. Унизительно. Остались в своём. И маленький Гreve тоже.

И просидели ещё час, мало разговаривая. То состояние, когда каждый разговор только дерёт по душе, лучше своё внутреннее, хоть и оно морозит. Бунт, и во всём Петрограде, в несколько часов, и удавшийся, – это же революция! Как она грянула? Кто там вершит? Что теперь будет? Да в Действующей армии революции нет – придут же и справятся, с кем тут справляться? – тут никто не умеет винтовки держать. Но полк опозорен. И собственная честь. И значит – жизнь.

Ниоткуда не доносилось никакой стрельбы. Не верилось, что в полку разорение, что бродят чужие и ищут крови.

А есть хотелось – всё больше. Со вчерашнего дня ничего не ели. Хоть бы хлеба достать. Причетник сказал, что достанет. Ушёл.

Вернулся – позвал обоих солдат. Вскоре опять пришли, да как – с кипящим самоваром, подносы с едой, большая коробка папирос. Это прислала матушка, жена полкового священника.

Это и погубило! Не хватило осмотрительности – шли трое в затылок по плацу, самовар, поднос, – кто-то и заметил.

Не успели чаю заварить, хлеба куснуть – женский голос близко закричал пронзительно: – Вот тут офицера сидят!

И – ни на что не успели решиться, обдумать – другие крики, топот сбегающей толпы, и даже без «выходи!», так быстро, пока причетник стал закрывать на крючок – выстрел в дверь! – и ранило его. Сбился с ног, сел на пол, пополз в сторону, трогая плечо и вслух молясь.

А в дверь – ещё и ещё стреляли, и крик нарастал гуще, толпа сбегалась, кричали:

– Бей кровопийц!

– Попили нашей крови! – и матерно, и матерно, дикий рёв – откуда же столько ненависти? где она была? как жили, её не зная?

И – выстрелы, все в дверь, и даже не по низу, не опытно, – а на высоте плеч. Но на простреле двери никто и не остался: Гreve от самовара успел присесть на корточки и отполз. Причетник дополз до постели, Всеволод дал ему подушку, приткнуть к ране, сам прилёг на пол под подоконником. Сергей успел вжаться в угол за постелью. Солдаты оба – на полу.

А снаружи всё орут и стреляют. И опять же неопытность: довольно было им оббежать к окну – и оттуда простреливалось почти всё в комнате.

Но не оббежали. А всё тот же громкий злой гомон голосов, мужских и бабьих, мат о кровопийцах и беспорядочная стрельба в дверь.

Потом вырвался голос:

– Товарищи! Да может там никого и нет? Не стреляй! Погоди, не стреляй!

Стихло. Тут, в комнате, замерли: мышеловка, уйти некуда. И оружия нет.

Да – и нужно ли оно? Кого тут убивать? И спасти не спасёт, не прорвёшься.

Толкнули дверь – она не закрыта была? сбило крючок пулею? И заглянул один солдат, московец. Молодое сообразительное лицо, как бывает у хороших служаек, незнакомый. Показал рукой: сидите, не выходите. На всеволодова денщика:

– Так ты что ж не выходишь, дурак, ведь убьют! – и за шиворот вытянул его, вытолкнул наружу:

– Вот он, захухрай! Никого там больше нет. Расходись!

И крики утихли. И не стреляли. Поговорили, поговорили возбуждённо, будто расходились.

Теперь офицеры уже не чинились, не сомневались, быстро надевали солдатские шинели, при первой возможности выскользнуть. Надо было утром переодеться сразу, гордость, уже бы ушли, и причетник был бы не ранен.

Нечем ему и помочь, прижимает подушку к плечу.

Но не успели застегнуть шинелей – новый рёв и опять застреляли в дверь, теперь уже уверенней. Видно, денщик сказал. Ужались по своим углам. Братья пожали друг другу руки.

Били, били, потом голос:

– Да может сами выйдут? А ну, перестань стрелять!

Но сами входить опасались: ведь первых нескольких снесут. Потому всё время и не врывались.

– А ну, выходи кто там!

Ничего не оставалось. И теперь – куда ж в шинелях? Стыдно, зачем и надевали? Сбросили солдатские, своих не успели натянуть, вышли в одних кителях, трое. Капитан, штабс-капитан и прапорщик. Всеволод палку забыл, без неё.

Отступя от двери шагов на пятнадцать, плотным чёрным полукругом стояли рабочие, на руках пальто у всех – красные повязки. Винтовки выставлены у всех «на изготовку», уж там какую. Подрагивают. На ком через плечо – пулёмётные ленты, награбили в складе.

Сразу все лица – в один глазоём, ни одно не рассмотрено, все запомнены навсегда, на оставшиеся минуты жизни: больше – молодые, и все обозлённые.

А за ними – большая толпа, и женщины, грозят кулаками через плечи передних, кричат:

– Бей кровопийц! – и матерно.

– Сдавай оружие!

– У нас оружия нет, мы сдали вчера.

Не верят. Настороженно выходит вперёд один из эриксоновцев, эта фабрика – тут рядом, и все они сколько же раз ходили тут мимо, в трамваях ездили и встречались. И никогда офицеры не замечали столько к себе зла.

Подошедший обхлопывает офицеров по поясам, по карманам. Удивлён, но оружия нет. Всё это видят – и громче из толпы:

– Что с ними возиться? Стреляй кровопийц!

– Отходи, не мешай!

– Довольно нами покомандовали! Теперь мы покомандуем!

И обыскивавший вожак отступает от обречённых.

И с новым напряжением – уже не опасного поиска, но торжества, раздвигаются, давая место и другим желающим, кто на изготовку, кто уже и целится. Но никто не стреляет, видно ждут команды вожака.

Как сложна жизнь, но как просты все смертные решения: вот – здесь, вот – сейчас. А больше всего изумление: мы умирали за эту страну – за что она нас ненавидит?

Маленький Греве, мальчик перед взрослой толпой, замер. Всеволод Некрасов цедил: «Идиоты проклятые...» А Сергей вытянулся, развернулась грудь с георгиевским крестом, вздохнул последний раз – не здесь он думал умирать, не так. Успел пожалеть стариков родителей, что в одну минуту потеряют обоих сыновей – и обоих от русских рук. Но сказать убийцам вслух – в оправдание, в задержку – ничего бы не мог найти.

Тут, опережая команду, – прорезался новый крик – сбоку, с паперти полковой церкви:

– Стой! Стой, не стреляй!

И со ступенек паперти, откуда хорошо видели, с десятков москвичей сбежали сюда – и, расталкивая, расталкивая толпу, пробирались энергично – пробрались – ворвались в полукруг между расстрельщиками и обречёнными:

– Стой! Не трогай их! Это – офицеры хорошие!

– Мы их знаем, не трожь!

А их самих офицеры не успели и распознать.

Нет, уже не остановить:

– Отойди! – кричат озлобленные красные повязки. – Не ваше дело! Отойди, и вас зацепим!

Но солдаты мешали собой. А один крикнул:

– Калеку бьёте, герои тыловые!

И вот это – дрогнуло по кругу:

– Где калека?

– А вот! – показали на Всеволода Некрасова. – Вот! – и на ногу его.

Отдав винтовку, один из рабочих подошёл и стал щупать ногу Всеволода через брюки, ниже, ниже. Крикнул как о манекене:

– Верно! Нога деревянная!

И – застывший чёрный резкий полукруг как размылся, зашевелился, распался:

– Кале-ека...

– Ногу-то отдал...

– Чуть-чуть ошибка не вышла, ишь ты...

Да ещё ж оставалось кого расстреливать, – стоял высокий открытый штабс-капитан и молоденький маленький прапорщик, – нет, теперь и они были помилованы за ту ногу. Рассыпался полукруг – и подошли как виноватые, подошли как бы уже друзья:

– Да шинелки-то есть у вас? Вы ж обмёрзнете.

– Поди им шинелки принеси.

– Там – раненый у нас, унтер, – сказал Сергей.

– Сейчас мы его в лазарет! – это солдаты-выручатели. Но совсем незнакомые лица, не узнавали их братья.

– Да вы покурите, – сожаловала теперь толпа.

– Да садитесь поешьте, самовар ваш стынет.

Но старший из рабочих, чугунонрубленный, отречённый:

– Есть – некогда, рассиживать. Всех арестованных приказано представлять в Государственную Думу. Собирайсь.

175

Военка в конце ночи. – Оживление утром.

Ни скрыться домой, ни даже здесь поспать Масловскому так уже и не удалось. Но он очень морально подкрепился тем, что Военная комиссия поступила под ответственность Государственной Думы. Отвечать – так вместе с Родзянкой.

Да что в самом деле! Потомственный аристократ и сколько военных в роду – разве он с юности не мог стать блестящим офицером! Но он уже тогда рассмотрел увядание аристократической жизни, на ней – уже не стяжаешь успеха. Пошёл было Масловский в антропологию, в среднеазиатские экспедиции, научные попытки, не очень удачные, – а потом всё общество двинулось в революцию, и Масловский туда. И чуть не сжёг себе крыльев. Последние годы он втихомолку начал литературные опыты, вот писателем бы ему стать.

И правильно он увидел, ещё двадцать лет назад: каково бы в нынешние сутки оказаться офицером? – как волк среди людей, все охотятся.

Изнемогала в тревоге, незнании и беспомощности *военка* (как уже с вечера стали звать *советские*) – но во второй половине ночи подкрепились приятным событием, из простых человеческих радостей: кто-то принёс к ним в комнату большую кастрюлю тёплых, с луком жаренных, коричневых сочных котлет – и каравай белого хлеба. Там революция или нет – а желудок требовал своё! Вилочек не было, каравай рвали пальцами, потом резали перочинным ножом, пальцами же хватали и котлеты, и так всё дочиста съели, не узнав, кто это и где жарил.

В остальном же военная обстановка была смутна и опаснее, чем днём: по ночной беззащитности, по полному отсутствию у Таврического дворца организованной военной силы. В каждую минуту, разогнавши одной очередью сброд из сквера, Хабалов мог взять Таврический дворец голыми руками.

И даже у дверей военки уже не толпились любопытные или защитники, все разошлись спать.

К счастью, оказалась вымышленной высадка 177-го полка на Николаевском вокзале. Но пришло другое грозное сведение: о высадке какого-то полка на Балтийском вокзале. А комендант Кронштадта сообщил – вероятно, он метил доложить Хабалову, но по проводам попало почему-то в Государственную Думу: что началось большое движение неорганизованной военной толпы из Ораниенбаума на Петроград, может собраться и 15 тысяч. Правда, к этому времени уже считались перешедшими на сторону мятежа Семёновский полк и Егерский тоже, – и послали им распоряжение: против этого неопределённого ночного перемещения выдвинуть заставой 500 семёновцев и 300 егерей, непременно с офицерами и пулемётами. (С офицерами! – а есть ли они там, и каково им? Но укрепить их: распоряжение Государственной Думы.)

Но, как и вечер, тем более ночь состояла в том, что ни одно посланное приказание не подтверждалось, ни один высланный пикет или патруль никогда не возвращался: всё это растекалось, кануло и будто никогда не было послано вовсе.

По всем четырём железным дорогам – Николаевской, Виндавской, Варшавской и Балтийской, был Петроград угрожаем, но не мог предупредить нападение или выставить оборону. Да сам в себе он заключал затаившуюся правительственную силу, о намерениях которой ничего не было известно, а действия могли быть обнаружены слишком поздно. Где было правительство – тоже не известно: в Мариинском дворце его уже не застали, очевидно перешло в Адмиралтейство? И непрерывно заседает там и безусловно имеет прямой провод со Ставкой, и оттуда льются указания, и они готовят круговое удушение мятежа. И генерал Иванов уже ведёт кошмарную силу.

А Энгельгардт, поехавший в Преображенский батальон, – по общему закону исчезания больше не появился до утра.

И – догадка: может быть, под этим удобным предлогом он просто скрылся из опасного места? А Масловский отчаянно и неразумно сгорал тут!

Да если б не моряк Филипповский – он бы и ускользнул. Но двужильный Филипповский, как будто и не ночь была, сидел и писал, писал случайные распоряжения, – однако на бланках Товарища Председателя Государственной Думы – вид!

Наибольшей опасностью представлялась Масловскому Петропавловская крепость, может быть по особому чувству к ней всякого революционера. Она – так и не сдалась, нет! Идеально было бы – закупорить её, обложить все выходы снаружи. Но – где же собрать желающих идти туда на ночь и на мороз, торчать – а из бойниц застрелят?

Два ретивых унтера да несколько солдат выручали военку на посылках и поручениях.

Ночь казалась бесконечной – и грозной до конца. Революционный долг приковал гвоздём. (Всё же, когда нападут, с главного входа, – Масловский успевал бы уйти через боковую дверь на Таврическую улицу, а там – три шага домой, и штатского не задержат.)

Сколько пережито за эту бессонную ночь – как за целую жизнь!

К шести утра телефон сообщил, что на сторону народа окончательно перешли батальоны Петроградский и Измайловский. (В Измайловском несогласные офицеры осаждены, а некоторые убиты, то ли 8, то ли 18.)

Ни событий, ни боёв больше нигде не происходило. Уже с наступлением света стали звонить и требовать охрану: на Пороховой завод, на охтенский завод взрывчатых веществ, на морской и артиллерийский полигоны: отовсюду военные караулы сами ушли. На взрывоопасные заводы, конечно, охрана была нужна в первую очередь, один злодей с коробкой спичек... Но и посылать было решительно некого и неоткуда.

Но и то сказать, во что нельзя было поверить вчера вечером: вот, наступил следующий день – а революционная власть стояла? и именно к ней все обращались?

И за дверьми опять толклись желающие, можно было посылать.

Уже в полное утро, после двух светлых часов, появился Энгельгардт, видимо поспавший и уже в мундире и с аксельбантами генштабиста, а с ним ещё – профессор Военно-медицинской Академии Юревич, которого Энгельгардт тут же, совсем некстати, объявил комендантом Таврического дворца – и этот тоже стал отдавать приказания, путаясь с остальными.

И рассердился Масловский на Энгельгардта за его ночное отсутствие, но и успокоился его пышным приходом теперь: так всё выглядело вполне респектабельно! Прилично и самому пойти натянуть военное. Чёрт возьми, мы ещё повоюем с этим царизмом!

Однако с горечью сообщил Энгельгардт, что преображенцы, несмотря на его горячую ночную речь, никуда не двинулись и ничего не атаковали. Оказалось, там не только нет единства между офицерами и солдатами, но и среди офицеров тоже. Вообще, этот ночной телефон к Шидловскому был почти случайностью – а так многое решил!

Всё же послал теперь Энгельгардт преображенцам приказ: занять Государственный банк, телефонную станцию, выставить посты к Эрмитажу и музею Александра III. Хотя бы на эти-то неопасные задания должно было хватить их ночного обещания. И по меньшей мере – чтобы

Преображенский батальон расставил бы караулы вокруг Таврического, и охранял бы порядок тут.

Через Энгельгардта теперь можно было узнать такое, чего не узнали всеми ночными разведками, – странное положение, когда, между как будто воюющими сторонами, с Главным штабом идут любезные телефонные разговоры: что правительства в Адмиралтействе нет, и нигде его вообще нет, оно не существует. Что Хабалов на ночь переходил в Зимний дворец, но туда приехал великий князь Михаил и вытеснил его назад в Адмиралтейство. Что у Хабалова 5 эскадронов, 4 роты, 2 батареи.

Такая откровенность была изумительна и подозрительна. Может быть, по этим телефонам и Энгельгардт встречно был так же откровенен? Так и признавался, что у Таврического нет никакой охраны? Масловский всё жёлчней следил за Энгельгардтом, за Юревичем, за Ободовским – ещё этот инженер зачем, откуда, кто его звал? – уже несколько часов сидел тут. И шептал Масловский Филипповскому, что этой буржуазной публике верить никому нельзя, что зря они, советские, дали вырвать у себя руководство военными делами.

Впрочем, телефоны прекратились, с телефонной станцией случилась беда: барышни утром все разбежались. Об этом пришла и записка от Родзянки: для восстановления действия телефонной станции необходимо послать туда автомобили, чтобы собрать по домам барышень. Кроме того, надо убрать труп, лежащий в помещении станции.

Занять телефон и телеграф – это верно, не повторять ошибок Пятого года.

Так ли понимать, что Хабалов телефонную станцию уже не защищает? Ободовский посоветовал иначе: послать туда наряд электротехнического батальона, который и занял бы станцию и обслуживал бы её. Но увы, по случаю революции этот батальон тоже разбежался, и не легче было собрать его, чем снова барышень.

Теперь, днём, набирались ещё и ещё начальники, тут и думец Ржевский, и какой-то, что ли, князь Чиколени, и какой-то Иванов, – и все распоряжались, друг с другом не согласуя, и подписывались на распоряжениях, на случайных думских бланках, как придётся – то «председатель Военной комиссии», то «за председателя», то «комендант Таврического дворца», то «за коменданта», а Энгельгардт писал ещё: «начальник Петроградского гарнизона».

Послали распоряжение 2-му флотскому экипажу занять Зимний дворец и арестовать министров, если там найдут, и всяких агентов правительства.

А Масловский с Филипповским отдельно – придумали и послали несколько маленьких групп арестовывать министров по квартирам, не забыв и Штюмера. Надо было спешить с делами истинно революционными! Мы ещё с этим царизмом повоюем.

А где-то – целые батальоны болтались без командования, – тот же и героический первый революционный Волынский: там же все офицеры сбежали ещё в самом начале, и никого не осталось. В 8.30 назначили из Таврического сразу двух прапорщиков, на равных правах, – вступить во временное командование Волынским батальоном. Но часу не прошло – появился из волынцев же штабс-капитан с претензией. И переназначили – его.

Главное было сейчас – уговаривать офицеров возвращаться в батальоны, без них не взять гарнизона в руки.

А в Измайловском батальоне после убийства офицеров творилось что-то безконтрольное. И послали к ним большой наряд с приказанием: всё оружие выдать Военной комиссии. (Хорошо, если выдадут, – а если нет?)

* * *

**Солдаты! Народ, вся Россия благодарит вас, восставших за
правое дело свободы.**

Солдаты! Некоторые из вас ещё колеблются присоединиться. Помните все ваше тяжёлое житьё в деревне, на фабриках, где всегда душило и давило вас правительство!

Солдаты! На крышах домов и в отдельных квартирах засели остатки полиции, черносотенцев и других негодяев. Старайтесь везде их немедленно снимать мёртвой пулей, правильной атакой.

Солдаты! Не давайте разбивать магазины или грабить квартиры. Это не надо!

Совет Рабочих Депутатов

* * *

176

Прапорщики Андрусов и Гримм примыкают к революции.

Вчера вечером, уже выбежав благополучно из Зимнего, павловцы не бежали дальше, стали разбираться, особенно учебная команда. С нею и прапорщик Андрусов.

Шли себе в казармы. Но по дороге к павловцам выскакивали из толпы женщины, барышни, хватали солдат за руки, совали им и даже прикалывали куски красной материи.

И офицеры не смели кричать: отойдите! или – не берите!

Да зачем бы и кричать? Совершалось какое-то огромное перемещение людских настроений, и Андрусову даже радостно было. Он участвовал в чём-то неповторимом.

Но ещё необыкновенней вчерашний день закончился: у казарм учебной команды на Царицынской улице стояли рабочие и студенты с винтовками – и не пускали солдат в их собственные казармы, а велели им больше ходить по улицам.

И так изменились все порядки, что обезкураженные солдаты не смели пробиваться, хотя им хотелось ужинать и лечь. А офицер тем более не смел подать им команды на то, молоденький офицер особенно чувствовал этот новый трепещущий воздух.

Да офицерам, кажется, вообще уже нечего было делать тут, при солдатах. И даже безопаснее – отделиться.

Такое нарастало ощущение неведомой опасности – даже лучше было бы им куда-нибудь скрыться, провалиться.

Тут же, на Царицынской, помещался офицерский лазарет – и кое-кто из офицеров-павловцев сумел переодеться в больничные халаты и лечь. И Андрусов даже позавидовал: какие же ловкачи.

Но вскоре кто-то из солдат безприютной учебной команды попёрся в тот лазарет – и обнаружили своих здоровых офицеров. И был им позор.

В слонянии Андрусов столкнулся с Костей Гриммом. И придумали они попроситься на ночь в квартиру своего интенданта – тут же, через два дома. (Идти через весь город офицерам было опасно от неизвестных чужих солдат.)

А тем временем узнали они, что солдаты ищут убить капитана Чистякова. У интенданта же узнали, что Чистяков прячется недалеко, у другого интенданта. И Гримм позвонил своим домашним – и предложил переправить Чистякова в штатском на Васильевский остров к своему отцу – известному либеральному члену Государственного Совета, там не тронут.

Но как ни переодевай капитана Чистякова – нельзя спрятать его приметной перевязанной руки, да и глаз его непримиримых не спрятать. Отказались.

Вадим Андрусов тоже звонил домой. Отец его, кадет, и мама были в восторге от происходящего: началось долгожданное освобождение народа! Осуществление вековой мечты получаем как подарок. Вот теперь-то и начнётся жизнь! теперь-то и начнётся порядок. Ни от какой перемены не может стать хуже, уже дальше терпеть было невозможно.

Вадим пожаловался им, что вблизи это всё не так удобно, не так приятно выглядит.

Но в нём самом возобновилось: и правда, в духе своей семьи и воспитания, почему ему не примкнуть к общей радости?

Ночью обсуждали с Костей – что же делать? Необычным образом входило в жизнь необычное – и почему же им не примкнуть к победе народа, которая так мечталась и ожидалась?

В молодом возрасте легки эти переходы. Есть в них продолжение спектакля, начавшегося вчера.

А на улице, под окнами, ещё поздно вечером бродили солдаты, всё не пускали их в казармы те вооружённые.

Утром проснулись, проверили своё настроение – да! И поднялись революционерами!

И приколюли к своим шинелям на грудь красные бутоньерки.

В ногах, в груди, в голове образовалась необычайная лёгкость, как будто к земле не притяжены. И разбирало созоровать. И чувствовалось так, что вот сейчас они могут что-то свободно-великое совершить и даже прославиться.

Но идти в таком виде к собственным солдатам в учебную команду было стеснительно, не могли. Тогда – пошли в походную роту, позавчера бунтовавшую раньше всех.

Там ещё спали.

Два прапорщика стали ходить по помещениям и кричать:

– Что спите? Подымайсь! Революция!

Но и этого показалось мало, и просыпались вяло. И тогда Андрусов с Гриммом стали кричать – почему? как в голову пришло:

– Подымайсь! Царя больше нет!

А услышав такое – павловцы вскакивали с большим переполохом.

А потом смекнули, что значит теперь никого за бунт не накажут, и девятнадцать их арестованных судить не будут.

И – качали обоих прапорщиков. И становилось обоим всё веселей и несвязанней.

Пошли в собрание позавтракать. У некоторых молодых офицеров тоже уже были красные приколки – а старшие офицеры смотрели осудительно, да их почти не было.

И капитана Чистякова не было.

Тут явился бывший командир Гвардейского корпуса грузный генерал Безобразов – и в бильярдной стал поучать офицеров, что в случае вызова батальона на улицу надо не подпускать к себе толпу, а останавливать её сначала приказанием, а потом дать залп.

Всё это – дико звучало, из какого-то невозвратного времени. Не стала с ним офицерская молодёжь спорить, а – вставали и демонстративно выходили.

Потом Вадим и Костя пошли пешком в Таврический. Теперь они свободно могли двигаться среди незнакомой солдатской массы: на них видели красные бутоньерки, и их не обезоруживали, и приветствовали.

В Таврическом потолкались, нашли Военную комиссию. Там очень им обрадовались и сразу выписали распоряжения: Гримму – командовать своим же взводом павловцев, состоя при Государственной Думе. А Андрусову: вступить в командование нарядом павловцев, поставленным в Михайловском манеже.

Так они оба стали при деле, молодыми офицерами революции.

ДОКУМЕНТЫ – 2

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ В ВОЕННУЮ КОМИССИЮ

(утро 28 февраля)

– Немедленно вышлите подкрепление 350 чел. на Лиговку, угол Чубарова переулка. Большая засада, действуют 6 (шесть) пулемётов.

/Карандашом помечено: не оправдалось/

– Санитары лазарета Зимнего дворца просят прислать отряд войск, чтоб арестовать скрывающихся там лиц... Дворец сейчас ни в чьей власти. Часовые сняты, но внутри ещё сторонники старого правительства.

По поручению санитаров студент Р. Изе

– Поблизости Сената видны толпы пьяных, разграбивших гостиницу «Астория».

– Уг. Инженерной и Садовой плохо. наших патрулей нет в этом районе.

– В городе всё спокойно. Солдаты жалуются на холод и решили отправиться в казармы. Захвачены 18 бронированных автомобилей. На окраинах происходят разгромы магазинов.

– Освобождённые из Петроградской пересыльной тюрьмы просят указать место, куда б они могли прийти и получить как постель, так квартиру, пищу и оружие, а также пропуск.

Освобождённый политический (подпись)

– По поступившим сведениям, два подозрительных субъекта раздают воинским чинам спиртные напитки и распространяют заведомо ложные и тревожные слухи.

Член продовольств. комиссии (подпись)

– Поручено организовать охрану Арсенала, где будто бы идет разгром.

– Просят уг. Садовой и Инженерной немедленной помощи для умирения пьяных солдат.

– Склад оружейных припасов разгружают и отправляют. Необходимо прекращение увоза снарядов. Могут через Лесное на лошадях увозить. Ждут войска из Финляндии.

1 запасного полка Кузьма

– ПРИКАЗАНИЕ. Вольноопределяющемуся Таирову Дмитрию и рядовому Маяковскому Владимиру произвести выборы представителей в военно-автомобильной школе, организовать ремонт машин.

Б. Энгельгардт

Дух Французской революции. – Шульгин берёт Петропавловскую крепость.

В кресле пересидевши ночь, не выспался Шульгин, и утром горяченького нечего было плотнуть, бездействовал разграбленный думский буфет. Но что-то заливало душу настроение Французской революции.

К этому сравнению легко было прийти, оно у многих на уме было уже вчера вечером, но сегодня захлёстывало с новой силой. Из отдалённого хладнокровного читателя Шульгин был объят в соучастника – а может быть и в жертву? – тех, оказывается страшных, дней.

Что вчера! Вчерашняя вечерняя думская толкотня сегодня вспоминалась, пожалуй, как блаженная прореженность. Вчера только прорывались, а сегодня, уже не зная задержки, пёрла и пёрла через входную дверь чёрно-серо-бурая бессмысленная масса, вязкое человеческое повидло, – и бессмысленно радостно заливала всё пространство дворца, для своего здесь бессмысленного пребывания. Вчера потерянные солдаты по крайней мере искали тут ночного крова, боялись возвращаться в казармы – но что сегодня? Все помещения, залы до последнего угла и даже комнаты захватывала, забирала, в движении и перемесе, – толпа, да тупая, просто сброд, задавливающий всякую разумную тут деятельность. Россия осталась без правительства, все области жизни требовали направления и вмешательства, – но членам Думского Комитета не только не оставлялось возможности работать, а даже находить друг друга и просто передвигаться по зданию.

И обнаружил Шульгин, что у этой массы было как бы единое лицо, и довольно-таки животное.

И он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад! И когда в Екатерининском зале молодёжь в группках пыталась петь марсельезу, на русские слова и перевирая мотив, —

Отречёмся от старого мира,
Отряхнём его прах с наших ног, —

Шульгин слышал *ту*, первую, истинную марсельезу и её ужасные слова:

Берите оружие, граждане!
Вперёд! И пусть нечистая кровь
Заливает наши следы!

И *чья* ж предполагалась та нечистая кровь? Уже тогда показано было, что королевским окружением не кончится.

А вот и у нас изорван в клочья императорский портрет.
Отвращение.

Десять лет позади думской трибуны висел огромный портрет Государя в полный рост, терпеливый свидетель всех речей и обструкций, но всё же символ устойчивости государства. И вдруг сегодня утром увидели: солдатскими штыками портрет разодрали – и клочья его свисали через золочёную раму.

И эти несколько наглых штыковых замахов вдруг поменяли всё восприятие: петроградский эпизод не только не возвращался в колею, а, может быть, и правда был великой революцией?

И ни весь Думский Комитет, ни сам Родзянко не могли охранить портрета и ничего остановить.

И толкнуло Шульгина: как было в Киеве, всегда помнил он, 11 лет назад. Ворвалась в городскую думу толпа, там преимущественно евреи, тогда солдаты не бунтовали, – и так же рвали все портреты императоров, выкалывали им глаза. Какой-то рыжий студент-еврей пробил головой портрет Государя, носил на себе пробитое полотно и иступлённо кричал: «Теперь я – царь!» А укреплённую на балконе царскую корону изломали, сорвали и бросили на мостовую, перед десятитысячной толпой.

В большом роскошном кабинете Родзянки ещё отсиживались от этого людского затора, тут были все свои, тут можно было что-то и обсуждать.

Хотя ни к какому решению прийти невозможно. Понятно, что надо действовать, не дать анархии развиваться, но непонятно что и как. Вторые сутки не переваривалось мозгами всё это огромное, что свалилось на их головы, – гораздо большее свалилось, чем они призывали, ждали, хотели.

Да – против кого действовать? И *кому* действовать? Как и правильно предупреждал их Шульгин – ломали, ломали копыя во славу людей, облечённых доверием народа, достойных, честных, талантливых, – а где они есть? Во Временном Комитете – как будто верхушка Думы, а посмотреть – одна серятина, просто стыдно. Хорошо, это ещё Комитет, не правительство, но кого же такого талантливого и *облечённого* возьмут в правительство?

А на что годилась слоновья туша Родзянки? Такой, бывало, упрямый против самого Государя – вот не мог высадить из бюджетной комиссии каких-то самозванцев, проходимцев, совет невыбранных каких-то депутатов, захватывали здание самой Думы.

И в отличие от них всех, ощущая свою ещё молодость, тонкость, подвижность, себя – ещё киевским прапорщиком 11 лет назад, – Шульгин испытывал жажду отличиться от здешней невразумятицы, действовать.

И тут он услышал разговор, что звонили на рассвете из Петропавловской крепости, комендант выразил желание говорить с членами Государственной Думы – и вот всё ещё не послали никого. Услышал! – и в его романтической душе вся картина вдруг повернулась и переосветилась иначе: ведь если похоже на Французскую революцию, то ведь и в *этом* похоже! Петропавловская крепость – это же Бастилия! И у этой отвратительной толпы вот-вот зародится мысль – брать Петропавловскую крепость штурмом! освободить может быть несуществующих или немногих там узников и казнить комендантскую службу. Так надо успеть действительно предотвратить этот ужас!

Вот и пригодилось, что он тут ночевал, не зря мучился в кресле. И стал предлагать Родзянке и всем в Комитете, чтобы послали – его. Спешил убедить, боялся, что пошлют не его. Но все были так заморочены, что даже не оценивали важности шага, – кивнули охотно, хорошо, что доброволец есть.

Выскочил на бодрый морозец, не достигнувшись.

Прежде вот так поехать по городу – ему бы никак не достать автомобиля. А сейчас – в одну минуту подавали. Кажется – четверть автомобилей Петрограда стояла перед Таврическим, дожидая чести везти кого-нибудь. (А остальные три четверти гоняли по городу со стрельбой и криками.)

Но подавали – с красным флажком и с торчащими штыками: ни крохотное местечко, где только можно было уцепиться, не оставалось без солдата со штыком. И вот уже открывал Шульгину дверцу какой-то расторопный офицер со снятыми погонами, приставленный от Военной комиссии.

И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость.

Не поехал бы, если бы не величие задачи и не аналогии. Но вся Французская революция раскатилась из-за штурма Бастилии. Успеть предотвратить такое несчастное развитие. Политических – выпустить на глазах толпы и показать ей пустые камеры.

Шульгин не узнавал улиц – такие необычные фигуры, со множеством красных пятен от бантов и повязок, необычное движение. По Шпалерной не шли, но валили к Думе. Просто множество во-оружённых людей, военных и невоенных, безо всякого строя пешком, и на грузовиках.

Окружной суд ещё всё пышел – раскалённые развалины, пепел, дымки от залитого.

Погода была ясная, морозно-солнечная, и с Французской набережной открылась сверкающая снегом Нева, кое-где переходимая чёрными фигурками.

А с Троицкого моста – долгая многоскладная серая крепостная стена Петропавловки с куполами собора и вознесенным безсмертным золотым шпилем колокольни. И императорский штандарт на одной башне, чёрный орёл на жёлтом поле: династия – спит здесь.

Великий миг. Билось сердце.

За мостом уже виделся неподалеку, голубел купол мечети. На открытом месте, по пути к крепости, густился митинг, и студент с грузовика выкрикивал о свободе, свободе, свободе, – и все слушали как долгожданное.

Но по мостику, ведущему через канал к крепости, не шли. По ту сторону – парные часовые.

А возле них – ожидающийся офицер. И не успел спутник Шульгина помахать носовым платком – как офицер уже спешил навстречу:

– Как хорошо, что вы приехали! мы вас так ждём! Пожалуйте, комендант вас ждёт!

Тут их догнал из толпы – какой-то в офицерской шинели, а без погон... Не было места, но и он пристроился на подножке меж революционными солдатами.

Часовые глазели.

Въехали в наружные ворота. Проехали под сводом Петровских.

У собора развернулись – и подъехали к обер-комендантскому дому.

Внутри – темно, узко, старинная постройка.

Наконец и комендант, генерал-адъютант, изувешан орденами, но не слишком боевого вида, скорей рыхл. И с ним несколько офицеров. Все безпокойны.

Шульгин, узкий, стройный, представился приятным тоном, что он – член Государственной Думы и – от Комитета Государственной Думы.

И старый генерал в волнении, совсем теряя осанистое достоинство службы и чина, убеждал молодого депутата с острым взглядом и острыми усами:

– Господин депутат... Пожалуйста, не подумайте, что мы против Государственной Думы. Наоборот, мы очень рады, что в такое опасное время есть хоть какая-то власть... Мы отклонили пригласить сюда отряд генерала Хабалова... Но как смотрит Государственная Дума? Разве то, что находится в Петропавловской крепости, не должно быть охранено? У нас – драгоценный собор. У нас – усыпальница всей династии. Монетный двор. Наконец, арсенал. Невозможно же, чтобы толпа сюда ворвалась! – и что же могут наделать? Какое бы правительство ни было – но оно будет это охранять. И наш долг присяги – охранять, мы не можем впустить...

Простые ясные соображения. А в Комитете не об этом думали, а только: присоединить Петропавловку к народу!

Но Шульгин имел довольно смелости и не довольно над собою контроля, чтоб ответить уверенно:

– Ваше превосходительство! Не извольте трудиться доказывать то, что ясно каждому здравомыслящему человеку. Поскольку вы признали власть Государственной Думы, а это главное, – то я от имени Государственной Думы подтверждаю вам и даже лично настаиваю: что крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало!

Генерал просветлел, приободрился, благодарил:

– Спасибо, господин депутат. Теперь мы спокойны и знаем, чего держаться. Но не могли бы вы оставить нам это в виде письменного приказа? Быть может, нам придётся предъявлять, доказывать...

Смелость Шульгина не имела границ, он тут же сел к столу и написал такой приказ коменданту крепости: охранять её всеми имеющимися силами и не допускать никакого вторжения посторонних.

Однако тут и высказал свою нетерпеливую мысль, с которой едва удержался не начать при входе: отчего погибла Бастилия. Надо публично выпустить политических – и показать пустые камеры представителям внешней толпы.

Генерал с офицером удивились: какие политические?! Тут вообще никаких узников нет совсем.

Облегчённо удивился Шульгин: совсем нет узников?! Но – так считается всеми, что есть, так все полагают. Вся эта грозная крепость среди города со страшной её памятью – не заключала ни единого узника??

Кроме тех девятнадцати мятежных солдат-павловцев, приведенных позавчерашней ночью. И комендант сам рад их выпустить, не знает, что с ними делать.

– Так неужели же ни одного политического?!

Ни одного! Ещё был – генерал Сухомлинов, военный министр. Но и он освобождён поздней осенью.

– Неужели так-таки все камеры и пусты?

– Все. Вы можете убедиться.

Девятнадцать павловцев генерал готов был выпустить сию же минуту. Но вот показывать камеры делегатам из толпы он считал унижительным и невозможным, даже для самого младшего своего офицера.

И у Шульгина не хватило настойчивости убедить.

Тем временем старший офицер просил его сказать речь гарнизону крепости: что Государственная Дума требует исполнения дисциплины.

Что ж, можно.

На обширном дворе близ колокольни, там, где расчищен снег, было выстроено несколько сот солдат, в полукаре. Что-то много.

И только тут догадался Шульгин: офицеры боялись не внешнего приступа, но именно этих, собственных солдат. Правда, неуютно быть в запертой крепости с непонятными солдатами, в такое время.

Щурились при ярком свете на Шульгина солдаты. И он на них щурился. И сейчас не показались они ему такими тупыми и безнадежными, как те в Таврическом. И оказалось совсем не трудно говорить речь перед безответным строем, без других перебивающих ораторов. Звучал только его одинокий, высокий, несильный голос.

Он напоминал, что идёт война. Что немец только и подстерегает, чтобы на нас кинуться. И если чуть ослабеем – он сметёт наши заслоны, и вместо свободы, о которой мы все мечтаем, получим немца на шею. Армия же держится дисциплиной, и надо повиноваться своим начальникам. Ваши офицеры в полном согласии с Государственной Думой, и я отдал им приказ: защищать крепость во что бы то ни стало!

(Хорошо прозвучало: «Я отдал приказ!» Ах, что делает революция!)

Кто-то крикнул:

– Ура *товарищу* Шульгину!

Уже и сюда проникло.

Но громкого единого «ура» не разразилось.

Попрощался с офицерами – и в автомобиль. Крепость спасена!

(Ах, упустил подхватить ещё одно яркое впечатление: посмотреть Трубецкой бастион! Уж так торопился в Таврический, казалось надо присутствовать там.)

На подножку опять вскочил тот делегат толпы, офицерская шинель без погон. За мостком он с подножки автомобиля держал речь к толпе – что Петропавловская крепость тоже за свободу.

И толпа кричала «ура!».

Тут же подъехали грузовики со многими штыками и щёлкая затворами: почему Петропавловская крепость не поднимает красного флага? Грозил открыть военные действия.

Сопровождающий перепрыгнул туда, на их мотор, и кричал, что вот член Государственной Думы, и уже обратил крепость за свободу и народ. Да сейчас поднимут и красный флаг, просто не успели!

А Шульгин укатывал – снова через Троицкий мост, и по набережной. И по той же взбаламученной, вооружённой Шпалерной.

Перед дворцом толпа стала ещё больше и гуще. Мешались воинские строи. Что творилось, что творилось!

Кое-как пробивался, пробивался через вестибюль, через внутреннюю толчею – в кабинет Родзянки. После всей этой дичи счастье оказаться среди своих: прежде – чужие депутаты, как сослуживцы, теперь – друзья, которые жили когда-то вместе со мною на одной хорошо устроенной планете.

Тут слушали его рассказ со вниманием и одобрением.

А непроницаемый Некрасов, с неподвижным взглядом, из-под неподвижных, как наложенных, усов вдруг выразил:

– Вот хорошо. Теперь из Петропавловки да запалить бы Адмиралтейство. Кинуть туда снарядов дюжину.

Шульгин обернулся резко, как укушенный. Здесь – он такого не ждал.

– Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?

И поворачивался дальше, дальше, глазами по Шидловскому, Коновалову, Ржевскому, самому Родзянке.

Но никто не мог его поддержать, потому что никто уже и сам не понимал.

А Некрасов, вчера на частном совещании требовавший военной диктатуры против беспорядков, теперь возразил невозмутимо, не вспыхнули синие глаза, не вспрыгнул голос:

– А – что же мы делаем? Мы и захватили власть.

– Позвольте, господа, я ничего не понимаю! – звонко, надорванно вскричал Шульгин. – Мы были против министров – но когда же мы стали против русских военных властей!

* * *

Отступление невозможно. Или свобода, или смерть. Враг безпопощен.

Что нужно делать теперь солдату? Захватить в свои руки все телеграфы, телефонную сеть, вокзалы, электрические станции, Государственный банк и министерства. Не расходитесь по казармам, ждите листов! Да здравствует вторая революция!

Петербургский Межрайонный Комитет РСДРП

Петербургский Комитет Социалистов-Революционеров

* * *

Хабаловский отряд в последнем бездействии. – Расчёты генерала Беляева.

Хотя и поспавши часа два, генерал Хабалов с утра соображал ещё меньше, чем вчера, совсем отупела его голова.

За все революционные сутки, если не считать пропавшего отряда Кутепова, подчинённые ему войска не совершили ни одного нападения, ни одного боевого передвижения, даже, пожалуй, ни одного выстрела, не испытали, не отбили ни одной атаки, оттого не имели ни одного раненого, ни одного убитого, – но тем не менее они потеряли всю силу, весь дух, да и заметно уменьшились в числе. Сутки назад это была единственная военная сила в столице и считалась её хозяином. Сегодня она стянулась в обречённый островок, адмиралтейский прямоугольник, из которого чуть не каждый и чуть ли не сам командующий только и думали теперь, как бы им сбежать.

Тяжелыников, с тех пор как отклонили его совет пробиваться из города, тоже ничего не мог понять и предложить.

С утра их забота стала – как бы раздобыть еды и фуража да накормить их боевой состав и лошадей. И патронов по-прежнему мало. Хабалов звонил в разные районы города, прося командиров воинских частей и учреждений прислать ему подкреплений, продовольствия, патронов, – но отовсюду получал отказ, и круче чем вчера. Он уже для всех стал заклятым клиентом.

Потом вдруг исчезла городская телефонная связь. Это значило, что телефонная станция перешла в руки мятежников. А это – отсюда два квартала.

Случайно достали немного хлеба, раздали части нижних чинов.

Лошади были не только без сена, но и без воды: из кранов поить неудобно, вёдер нет и носить далеко. Понуренные, они стояли во дворах.

Отпустили казачью сотню на водопой в казармы Конного полка. Туда прошли благополучно, но назад по ним стреляли и убили двух лошадей.

Залетали и шальные пули, с верхних этажей зданий по Адмиралтейскому проспекту, убили ещё двух лошадей. Адмиралтейство на выстрелы не отвечало.

А атаки – не было ниоткуда, да и наступающего противника. Может быть, увидеть его – было бы даже и легче. Пулемёты занимали для обстрела углы второго этажа, орудия стояли против ворот на Дворцовую площадь – однако делать им было нечего.

Но хотя город замолк, онемел, с ним не осталось связи – сохранился телефон дворцовой линии и телеграфная линия со Ставкой: главный аппарат был в Главном Штабе, наискосок, но в Адмиралтействе отвод. И, пользуясь этой линией, Хабалов утром телеграфировал Алексееву в Ставку, что положение трудно до чрезвычайности, верных долгу осталось пехоты человек 600, всадников 500, при 15 пулемётах, всего 12 орудий и только 80 снарядов.

Тем же телеграфом пришёл очень приободривший запрос генерала Иванова из многих пунктов. Там подтверждался предполагаемый приезд Иванова со многими войсками. Хабалов с радостью готовил ответ на все вопросы, уж он не знал, как дожидаться этого блаженного часа, чтобы передать ответственность, а потом, может, и само командование над опостылевшим ему, не принявшим его, враждебным неохватимым Петроградом. (Как бы он мечтал снова уехать в своё Уральское казачье войско!)

Всего-то дожидаться надо было одни сутки.

Но как их дожидаться, если за минувшие сутки потеряна целая столица?..

Ещё в этом же громадном здании где-то пребывал в своей казённой квартире сказавшийся больным морской министр Григорович. Но нельзя было прибегнуть к помощи его или совету: он со вчерашнего дня ни разу не потрудился прийти, не сделал ни одного доброго жеста к войскам Хабалова, только через служащих стеснял их в помещениях, и ещё спасибо, что пускал к прямому проводу.

Вокруг Хабалова было очень много старших офицеров – неизмеримо больше, чем требовалось по этим войскам. И так ему ни разу не пришлось самому пройти к войскам, посмотреть или обратиться. И офицеры не докладывали ему, но своим унылым видом, малословием, бездействием передавали, какая потерянности овладела последней горсточкой верных.

Они, младшие офицеры и солдаты, были верны, верны, но не могли же не видеть, что их командование совсем не знает, что делать, и только слоняется из здания в здание, отовсюду гонимое. А о самом правительстве было известно, что оно разбежалось. Дух бессмыслицы и бездействия растлевал хуже голода и беспатронности. За эти сутки весь город перекинулся в победный мятеж – и каждый час оттяжки, который они тут перебивали, никому не принося защиты и пользы, грозил каждому здесь расправой или карой от мятежа.

Дошло до немыслимого: хорошие офицеры-измайловцы приходили к своему полковнику и отпрашивались уйти вовсе.

А другие гвардейские офицеры спрашивали у генерала Занкевича, не найдёт ли он возможным войти в контакт с Думским Комитетом, как это, по слухам, уже сделали офицеры Преображенского полка.

В этом была особая странность и безцельность военных действий: непонятен был противник, где он, кто? Кроме хабаловского отряда, ещё в столице оставалась только Государственная Дума, но не она же могла быть противником? Отчего не сговориться с Думою? Офицерам-то более всего было непонятно: разве это противоречит присяге?

Занкевич не нашёлся ответить. (Он сам про себя и для себя обдумывал то же самое.)

Только артиллерийский полковник Потехин, тот на костылях командир батареи, начал на лестнице говорить малой кучке солдат – а тут их собралось больше, больше, все хотели послушать, ведь никто ничего не объяснял! – и, с костылей, он приобладривал громко и внятно на всю сумрачную лестницу:

– Не падайте духом, солдаты! Не смотрите, что город захвачен мятежными бандами, и не ослабляйтесь! Это – временное помрачение мозгов тыловых людей, – и погибла бы Россия, если б оно потекло дальше. Но Россия не с ними, а с нами! Она вся на фронте и противостоит врагу. Этот мятеж – лучшая помощь немцам. Не падайте духом, перенесите лишения, на фронте бывает и тяжелей, – мы стоим до своего!

Слова его, кажется, успешно ложились. Никто не возражал. Однако никто из офицеров не добавил больше. Постояли – и стали расходиться. Ещё неся сказанное. Или уже роняя.

Но каково во всех этих обстоятельствах было военному министру Беляеву, попавшему в такую гибельную ловушку? Как жалел он, что вчера вечером при стрельбе на Мойке покинул свой домин, – с тех пор он звонил туда и соединялся по военному проводу несколько раз, и убедился, что дом не разграблен и никто не приходил, вполне безопасно мог бы и остаться. А теперь его положение было – между молотом и наковальней. Победят мятежники – они не простят ему присутствия здесь, среди хабаловских остатков. (Кто-то из преображенцев телефонировал, что ночью они получили приказ наступать на отряд Хабалова. А из окон уже было видно, что там-сям собираются группы вооружённых штатских и солдат.) Придут войска Государя – военному министру не будет прощён побег отсюда. А спрашивается – почему он вообще должен вступать в эту историю? Ведь вот же Григорович, правда придумав болезнь, устроился: сидит как бы в своём министерстве, занимается как бы морским делом? Так и Беляев с Занкевичем (они обменялись мыслями) – вот тут, наискосок, в ста саженях, сидели бы у себя

в Главном Штабе, руководили бы военным делом, и их совершенно не касается, кто тут с кем в Петрограде воюет. Разве революция – против военных людей?

И Беляев, когда появлялся телефон, звонил снова Родзянке, очень рассчитывая, что эти отношения помогут ему с одной стороны. Но тот не обрадовал: он не ручается, что сделает разгневанная толпа с отрядом Хабалова. Очень советует прекратить сопротивление и распустить войска.

Однако это было не в распоряжении Беляева.

Однако, уж попав сюда, надо было во всяком случае хорошо отметить перед начальством: начальство продолжало существовать, вон слало экспедиционный корпус. И он решил, пока работает провод, слать туда донесения.

Но – что было в донесении выразить? Невозможно же передать весь этот ужас и эту обречённость. И можно прослыть паникёром. Осторожней выразиться так:

...Положение по-прежнему тревожное. Мятежники овладели важнейшими учреждениями, так что сколько-нибудь нормальное течение жизни государственных установлений прекратилось...

А затем уже прямо: ...Войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников или становятся нейтральными. Скорейшее прибытие войск крайне желательно, до прибытия их мятеж и беспорядки будут только увеличиваться...

Да уж скорей присылали бы, что они тянут!

179

Большевицкий манифест.

На квартире Павловых рано утром совали Шляпникову в руки проект большевицкого Манифеста. Шляпникову это понравилось, втайне ото всех партий – да выскочить первыми с Манифестом «Ко всем гражданам России», – и выкусьте! Вооружимся отдельно! Межрайонцы с эсерами уже успели тиснуть листовку – а мы целый Манифест! Должен бы Ленин похвалить.

Эх, перебежал Матвейка Рысс к межрайонцам, – вот было перо! Как-то умел он грозно писать, аж пожар по строкам, – и для врагов уничтожительно, и для нас ободряюще.

Ну ладно, мы и без тебя.

На этом манифесте уже и писали, и вычёркивали, кто только чего не городил со вчерашнего вечера. И заново переписывали. А до сих пор – не чист и не готов.

Ох, самая невытягательная работа – писать публичный документ, да когда времени не остаётся. Уж тут не до красоты слога, но какой-нибудь важный лозунг не исказить. А ошибиться очень просто, на самом ровном месте, политические формулировки – они как туман переползают, края не найдёшь. Как будто, вот, в руках держал – а опять ускользнуло.

Тут надо такой лозунг вжарить, чтобы всех аж по пяткам ожгло!

Спорили: вставлять ли в Манифест – Совет Рабочих Депутатов? Шляпников поднатылся, подумал: а что этот Совет депутатов? – он уже и так есть, вчерашний день, и там у нас не большинство, и не будет. А огоршить надо: во главе республиканского строя – значит, царя по шапке! – да создать революционное правительство! (А с нашим оружием мы в нём и погуще засядем.)

Ребятам понравилось. Молотов поправил: всё же – временное правительство. Ну, пусть «временное революционное».

Тут надо такие слова двинуть в сознание масс, чтоб никому их назад не вырвать, чтобы повернуть нелегко. А слюняй этот, Молотов, хоть ему на неделю дай мусолить, – никогда не кончит.

Да и ребята там у мотора замёрзли. Если ещё шофёр военного министра не сбежал. Ладно, поехали! – там, в Таврическом, перед заседанием доработаем.

Обошли самокатчиков крюком. Ничего, народ ходит, стрельбы нет. А не сдаются самокатчики, во упрямые! И что им в этом царском режиме? Во как мозги людям забивают.

До Литейного моста только красное видели на людях. А пересекли мост – какие-то ещё белые повязки на рукавах. Это – кто такие? Мол, городская милиция. Не-ет, это не наша сила.

Шпалерная сильно запружена: и туда и сюда валят солдаты без строя и вооружённые рабочие. Гудят автомобили, рычат грузовики.

А план у Шляпникова вот какой: создалась у Совета своя газета, и типографию захватил наш человек – Бонч-Бруевич. Из Таврического теперь сразу Шляпников ему позвонил по телефону – и тот обещал катнуть большевицкий Манифест сегодня же днём, отдельным выпуском газеты. И никому ни гугу.

Вот так, Вячеслав, дела делаются! Всех обскачем!

Только с текстом торопит. Пошли в какую-нибудь комнату.

Комнат много, а пустых нет. Да никто не знает в лицо членов большевицкого ЦК, вниманья не обращает. В многолюдьи затесались на диванчике в стороне, на коленях читали, и карандашом правили и доспаривали.

Благоденствие царской шайки... построенное на костях народа... – это хорошо, пусть так. Революционный пролетариат должен спасти страну от окончательной гибели, которую приговорило ей царское правительство... – тоже правильно. Но уже и неправильно. Надо чувствовать, как перетекает момент. Со вчерашнего дня солдаты с нами, и надо их не обижать, а привлекать в единые ряды. Значит, надо написать: не только пролетариат, но и революционная армия. Та-ак... Стряхнул с себя вековое рабство... – это не помешает. ...Временное Революционное Правительство во главе республиканского строя... – ай, хорошо, по всем зайцам сразу! И скажу Бончу, чтоб он на эту фразу не пожалел типографской краски. Верно, мы не указываем, как то правительство создавать. А это – долго думать, да и – кто раньше захватит. Наше дело: все права и вольности, конфискация всех земель, 8-часовой день, Учредительное Собрание, – ничего не пропустили?

А ещё: все продовольственные запасы *конфисковать*, очень просто! Когда всё конфискуем – тогда и распределять, а иначе – что же распределять?

Гидра реакции... – это хорошо. ...Победить противонародные контрреволюционные замыслия... – это правильно.

А вот по военному вопросу – надо за горло брать. Не-ет, это слабо написано, это мямленье: пролетариат не одобряет войны, не хочет захватов. Не-ет!

Но и прямо «долгой войну» – рабочие многие отшатнутся.

А вот как: революционному правительству войти в сношения с пролетариатом воюющих стран, понимаешь? Не с правительствами, а через их головы – с пролетариатом! Каким путём правительство будет делать – нас не касается, наше дело дать программу – чтоб дух захватывало!..

И что ещё непременно вставить: что революционное правительство надо немедленно же и выбирать. От фабрик, от заводов, от восставших войск. Лозунг!

И добавить, что: *по всей России!* По всей России поднимается красное знамя восстания. Неважно, что сегодня нигде нет, – завтра будет. Для того и пишем, чтобы было. По всей России берите в свои руки дело свободы! свергайте царских холопов! зовите солдат на борьбу с царской властью! Да прямо даже так: по всем городам и сёлам создавайте правительства революционного народа!

Сильно получилось. Во громыхнёт! Так ожечь, чтоб никому возврату не было! – вот это по-нашему.

Подпись конечно: Центральный Комитет Российской Социал-Демократической партии. Кто там ещё разберётся, что и комитетов несколько, и социал-демократических партий несколько, – а вот мы первые, как единственные!

Разберёт Бонч? Очки наденет – разберёт.

180

Кутепов в зеркальной комнате.

Как привыкает фронтовой человек спать даже под разрывами снарядов, так и Кутепов эту ночь крепко спал в угрожаемом доме, куда могли ворваться всякую минуту и требовать крови его. И, только проснувшись довольно поздно, вспомнил он опасность, и все старания минувшего дня, и всю безцельность их.

Стало горько.

О самом себе он всегда почему-то предчувствовал, что кончит роково, не просто его убьют на войне, но каким-то роковым образом – вот, очевидно, как могли вчера, как могут сегодня. Но он ума не мог приложить, что случилось за один день со всею петроградской властью, как она рухнула.

Что запасные батальоны были дрянь, а не гвардия, это ясно. Да по принципу экономии, чтоб далеко не перевозить, набрали здешних рабочих (а к ним листовки носят), да чухны из окрестностей, да лавочников, домовладельцев, белобилетников – маменькиных сынков, кто до сих пор уклонялся. Они развешивают уши к леченым раненым, об ураганном огне, о газах, и одного бы им только – не попасть на фронт. А офицеры все – проходные, они и солдат не успевают запомнить, не то чтобы знать, чем их головы забиты.

Но чтоб у власти не оказалось вообще ни единой опоры и она могла в один день разбежаться, не имея противу себя никаких сплочённых сил? – этого он не мог постичь.

Александр Павлович подошёл к окну своей небольшой комнаты и осторожно высматривал. Видел кусок Литейного проспекта, сад Собрания Армии и Флота и угол Кирочной улицы. Движение было необычное, много вооружённых возбуждённых людей, все с красными признаками. Одна группа неподвижно стояла прямо против дома Мусина-Пушкина, глаз не спуская с его окон и дверей. Вероятно, такая же была и против чёрных ворот.

И всё-таки он не жалел, что вчера отказался переодеваться в солдатское. Сама смерть всегда должна быть достойной, в этом офицерское предназначение.

За чаем ему рассказали несомненные сведения: что правительство разбежалось, Протопопов спрятался в Царском Селе; что полицейских всюду убивают или ведут арестованными в Думу; что старой власти не осталось совсем никакой, даже и военной, и никто не знает ни одного случая сопротивления революции, кроме вчерашних действий его отряда.

Это не вмещалось.

Утром хозяева лазарета хотели продолжить телефонный сбор сведений, но телефон замолчал. Пожалел Кутепов, что не успел позвонить сестрам, но вчера дал им знать, где он есть.

Наблюдали в окна. Пикеты были напряжены и сторожили все выходы. Хозяева дома очень волновались – из-за присутствия Кутепова, хотя старались этого не показать.

Вдруг, они видели, из-за угла Кирочной вывернули два броневика и два грузовика. Все они были наполнены вооружёнными рабочими. Машины остановились на проезжей части Литейного, рабочие соскакивали, кричали и друг другу показывали на окна. К ним притягивались и рабочие, гуляющие по Литейному.

С броневиков они подняли стволы пулемётов на окна дома – и гурьбой повалили к главному подъезду.

Хозяева заметались. Не открыть было невозможно. Старшая сестра милосердия вбежала и стала уговаривать Кутепова надеть халат санитаря, иначе его убьют.

Но и сейчас этот спасительный маскарад был Кутепову противен.

Он просил хозяев отпирать, о нём же говорить, что ничего не знают. И оставить его совсем одного. (Потом сообразил: это странно и невозможно, чтоб они не знали о присутствии раненого полковника в форме. Он очень неловко поставил их.)

Тут была небольшая угловая гостиная с дверьми в соседних стенах, одна дверь выводила к анфиладе по Литейному, другая к поперечной, и против каждой двери большое зеркало, так что идущий издали видел себя. Эта комната привлекла Кутепова, и он решил дожидаться новой власти здесь. В глухом углу между дверьми был стул, и он сел на него, оставив обе двери нараспашку.

И отсюда увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотой одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.

Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. Но не приподнялся им навстречу.

А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заморожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И ещё было яркое солнце в окна. А ещё случилось так, что они стали в дверях ни на секунду раньше один другого, а только одновременно – и, чуть головы повернув, увидели друг друга с выставленным револьвером, и что каждый исчерпал свой бег, дойдя до этой пустой комнаты. Если б один появился немного раньше – он имел бы время осмотреть комнату.

Не теряя времени, они так же одновременно повернули и поспешили своей прежней дорогой, показывая теперь в зеркала свои такие же схожие спины, уже без красного.

Удалились – Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза. Значит, Кутепов ещё на что-то предназначался.

Обыск в доме продолжался, проверяли санитаров и раненых, но сюда к нему никто уже более не пришёл – кроме, через полчаса, самих облегчённых хозяев. Они были не только облегчены, но уже и гордились, что сумели сохранить полковника.

На чердаке обыскивающие нашли сложенное вчера отрядом оружие, долго носили его к себе в грузовики – но раненых не тронули. И уехали опять по Кировой – вероятно, хвастаться в Государственную Думу.

И – сняли все патрули против дома.

Опоминались после пережитого, все оживлённо рассказывали, кто чему был свидетель и как подумал. Изумлялись спасению полковника.

Кутепов просил у хозяев извинения за всё, но пока хотел бы ещё остаться здесь немного.

Тем временем с Литейного раздалась военная музыка. Кутепов осторожно подошёл к окну и изумился, увидев не какое-нибудь чужое, но своё преображенское знамя и преображенскую форму на солдатах.

И они с Литейного поворачивали тоже на Кировую, тоже, стало быть, к Думе.

Ещё это наказание, укор, унижение родного полка должен был он испытать!

Тяжело было смотреть.

Однако он знал, что настоящий Преображенский полк, и настоящая армия, и настоящие люди – все на фронте, и скоро, скоро, с часу на час они всю эту нечисть разгонят.

Но самое примечательное и удивительное было – что запасной батальон шёл без единого офицера. Батальон вели четыре унтера, подпрапорщики, и одного из них, Умрилова, Кутепов легко узнал. Офицеров, которые как раз так были настроены за Думу, как раз и не было ни одного. Что ж это значило?

А впрочем, заметил он, что идёт батальон вовсе неплохо. Неплохо.

181

Родзянко готовит новые телеграммы. – Даёт совет царице. – Сносится с дипломатами. – Держит речь к Преображенскому батальону. – Без офицеров?

Жил Родзянко от Думы в двух кварталах. Хоть и неполная, но получилась ночь, поспал крепко, проснулся вполне свежий. И представились ему сразу цельной картиной все события предшествующего дня и собственное богатырское поведение. И ещё раз, посвежу, удивился он тому и другому.

Раскаивался ли он, что принял власть? Нет, его вершинное положение не давало выбора. В революционной обстановке ещё более, чем в мирной, он естественно становился высшим арбитром.

И совесть верноподданного тоже была в нём чиста: его вынудили обстоятельства и упорство известных лиц, не желавших уступить вовремя и подобру. Это они и создали все гибельные обстоятельства, а Родзянко только спасал Россию.

Правда, очень необычно было это новое состояние – власти, принятой без ведома Государя. Но – он ведь телеграфировал Государю! Зачем же Государь не отозвался?!

Эти две телеграммы в воскресенье вечером и в понедельник утром – его оправдание.

А теперь, когда власть уже взята, – теперь что ж остаётся? Только решительно идти вперёд – к укреплению этой власти. К отстоянию её и перед Государем, и перед революционной анархией.

А это – равновесие трудное. Тут – бушует толпа. А оттуда шлют восемь полков на Петроград. А надо – сбалансировать.

Против идущих полков Председатель ещё может предпринять телеграфные, телефонные попытки, чтоб их остановить.

Да Родзянко – отнюдь не бунтовщик против трона! Он не только не хотел сотрясать саму монархию – он спасал её!

А получилось, что своим полуночным решением невольно вступил как бы в противостояние Верховной власти, да...

Надо вот что, сообразил он за утренним завтраком: надо продолжать поддерживать прочную связь с Главнокомандующими. Как благоприятны были ответы Брусилова и Рузского, как вовремя пришлось, надо эту связь продолжать! Надо поспешить послать циркулярную телеграмму всем Главнокомандующим фронтами и флотами: что Временный Комитет Государственной Думы был просто вынужден принять правительственную власть из-за того, что весь состав бывшего Совета министров сам устранился от управления. Вполне естественный шаг, а кто бы придумал лучше? Генералы заботятся, как бы не сорвались военные усилия, и их надо заверить, что Думский Комитет – их вернейший в том союзник.

И таким образом для них самих станет бессмысленно посылать войска на Петроград. Да, верный путь!

Конечно, посылка прямых телеграмм Главнокомандующим, обходя Верховного, была игнорированием военной субординации. Но Родзянко сейчас не состоял на военной службе.

С такими мыслями, ясными, но и тревожными, но и в отличном телесном самочувствии, Родзянко на автомобиле подъехал к Таврическому и хотел, чтоб его подвезли к самому подъезду. Но нельзя сказать, чтобы здешнее столпотворение узнало в нём хозяина дома или ждало его. Толпа и автомобили стояли густо и поперёк, жили своим возбуждением и перемещениями,

и крик шофёра, что это – мотор Председателя Государственной Думы, не произвёл слишком большого впечатления. Ещё проехали несколько – пришлось слезть и просто проталкиваться.

Может быть для Щегловитова это и выход – что он заперт, и тем защищён. Иначе б его разорвали, а так он надёжно спрятан. Ничего, пересидит несколько дней – выпустим.

А внутренность своего дворца Председатель тем менее узнавал. У стен вестибюля и Купольного зала соштабелёваны мешки, бочки и ящики – в том неприятном чувстве, как если бы дворец был уже осаждаем. Очень много сновало солдат безо всякого строя и лада, и всяких оживлённых подозрительных штатских лиц, особенно шустрой молодёжи. Всё это двигалось, чем-то было занято – и тоже никто из них не прерывался, не останавливался, не отодвигался, чтобы почтительно пропустить Председателя Думы. Такое было нашествие чужих лиц, что саму Думу трудно узнать. Уж Родзянко не углублялся дальше в Екатерининский зал и, конечно, не пошёл в правое крыло, со вчерашнего дня всё более оккупированное этим Советом их депутатов, – но в левое, где думцы ещё обитали, хоть и в скученности, отстаивая несколько главных комнат. И среди них – кабинет самого Председателя, оазис размышления.

Достиг Родзянко своего председательского стола – и содвинулось сразу со всех сторон, что и под утро не замирали события и тревоги, и пожелания лиц.

Самое неприятное было, остро ударило Председателя: в Белом зале заседаний неизвестные изорвали штыками большой портрет Государя!

Как будто самого Родзянко кольнули под вздох! Большой портрет Государя, паривший над залом, за спиной Родзянко! Очень не по себе.

И даже пойти посмотреть своими глазами он не решился: увидят все, что пришёл Председатель, и что же? и почему не грянет гром?.. А что он мог сделать против этой безумной толпы?

И тут же известие: под утро Государь выехал из Ставки и движется в сторону Петрограда!

Как будто узнал о портрете – и ехал карать.

Стать во главе своих восьми полков?

Грозные тучи.

Тут и, по дворцовой линии, позвонил из Царского граф Бенкендорф: что здоровье наследника в очень серьёзном положении и императрица просит безопасности в районе дворца в такой смутной обстановке.

Сколько лет эта всевластная царица надменничала над Председателем Думы, выказывала ему пренебрежение, отвращала Государя от разумных уступок, – но вот оборвались куцые женские силы, и, раздавливая свою гордость, она просила о помощи?

Да Родзянко и сам безпокоился, чтобы с царской семьёй, чтобы с наследником не случилось худое. Он и вчера вечером сказал Беляеву передать во дворец. И теперь ответил Бенкендорфу:

– Граф! Когда горит дом – прежде всего выносят больных.

Так это ясно. Неужели не догадывается уехать вовремя, чтобы меньше было проблем и забот?

Тут и Беляев, лёгок на помине, единственный из министров, такой услужливый, звонил из Адмиралтейства, от Хабалова, нащупывая возможность благополучной капитуляции.

Это хорошо, уж войны-то в столице надо избежать.

Но в Таврическом укреплялся свой штаб: допущенная Председателем ночью «военная комиссия». Теперь пришёл Гучков, радостно возбуждённый, и предложил, что он эту «комиссию» возглавит. Отличное решение! Родзянко обрадовался: наш, октябрист, и сильный человек. Важное пополнение.

А другое важное укрепление вот какое пришло в голову Председателю: надо связаться с союзниками. С английским и французским послами. И обезпечить их поддержку Временному Комитету. Это может очень утвердить Комитет.

Прекрасная мысль! Не по телефону звонить, конечно, – да тут как раз и прекратились все городские телефоны. И – невозможно ехать собственной величественной фигурой, не укроется. Но совершенно конфиденциально послать некое солидное лицо, которому будет доверие, – и просить послов тотчас выразить их мнение о происходящем. (Да нет сомнения, что они в восторге.) И их пожелания.

Даже... даже, дальновидно опережая события... каков желателен им дальнейший ход... в смысле конституционных изменений...?

Поддержка союзников стоит тех восьми полков.

Пока выбирал сановного посланца и инструктировал его. Пока подписывал циркулярную телеграмму Главнокомандующим, что Комитет взял на себя трудную задачу создания нового правительства. Тут и члены Комитета, иные ночевавшие в Думе, подступали теперь со своими сомнениями и предложениями.

И вдруг принеслось: что к Государственной Думе подходит целый батальон! – первый за эти дни вполне собранный батальон!

Ответственный момент, он многое решит в дальнейших событиях! Заволновались и забежали: что за полк?

Кто-то издали рассмотрел и понял: преображенцы!

К такой радостной неожиданности Временный Комитет не был готов, не была подготовлена программа, кому говорить и что.

Бледный, взвинченный, самоуверенный Керенский рвался выступить. Но нет, уступить ему Преображенский полк Родзянко не мог – этих он должен был встретить сам! (К тому ж он начал понимать, что Керенский кричит толпе совсем не то, что нужно.)

И властным жестом, какого думцы привыкли слушаться, Родзянко показал, что будет говорить сам.

Однако, пока они тут суетились и решали, – батальон с музыкою не только вошёл в сквер и к крыльцу, но, оказывается, повалил внутрь – и никто не смел его задержать. Момент был невыгодный для выхода Родзянко, он пождал. Преображенцы теряли строй, смешивались в вестибюле и в Купольном зале – а потом в Екатерининском вытягивались и разбирались.

Этот зал действительно годен оказался и для военных парадов, и даже раздутый запасной батальон в четыре шеренги далеко не занял полного карре.

Михаилу Владимировичу исключительно приятно было выйти к тому именно батальону, который поддержал его ночью в решающую минуту. И, собираясь идти выступать, он задумал, что после речи попросит господ офицеров зайти к нему в кабинет – и отдельно поговорит с ними сердечно.

Но ещё не успел Родзянко дойти до строя – к нему подскочили и предупредили: батальон пришёл – без офицеров! привели – унтеры.

Что это?? Как это возможно? Как это понять? Почему же без офицеров?

Это всё переворачивало. Ведь именно офицеры телефонировали, что поддерживают, присоединяют полк, – и именно офицеров нет?

Но уже и размышлять было некогда: он входил в Екатерининский. Раздалась звонкая унтерская команда: «Смир-рна!»

Чем больше зал и чем многочисленней аудитория, тем всегда только больше разрабатывался могучий родзянковский голос. Речь была не подготовлена и обдумана некогда, но сердце подсказывало, как правильно:

– Прежде всего, православные воины, – густо закатил он, однако и напоминая, – позвольте мне как старому военному поздороваться с вами. – И с новой энергией, новой силой и чёткостью: – Здорово, молодцы!

– Здравия! желаем! ваш! псходительство! – неплохо ответили высокоростные преображенцы.

Первое сближение было сразу найдено, хорошо. Родзянко заговорил отечески:

– Позвольте мне сказать вам спасибо за то, что вы пришли сюда. Пришли, чтобы помочь членам Государственной Думы водворить порядок!

Оглядывал ряды. Возражающих не было.

– И обезпечить славу! И честь нашей родины! Ваши братья сражаются там, в далёких окопах, за величие России, и я горд, что мой сын с самого начала войны находится в славных Преображенских рядах. – Ещё одна связь между ними. А теперь и поворачивать и занузывать: – Но чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная Дума, вы не должны быть толпой! Вы не хуже меня знаете, что без офицеров солдаты не могут существовать. И теперь я прошу вас: подчиниться и верить вашим офицерам, как мы верим им. Возвращайтесь же спокойно в ваши казармы, – уже ощутил он, что пребывание этой поддержки в Таврическом может стать весьма тягостным, – чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны.

Ловкач, удобно всё повернул! – из мятежников обратил их в патриотов. Но определённой, что делать, – ничего сказать не мог. И не закончил никаким командным словом. Оттого раздался разброд солдатских голосов: одни кричали, что много довольны, другие – что согласны, третьи просили указать.

А что же указать? Родзянко с трудностью дояснял:

– Старая власть не может вывести Россию на нужный путь. Первая наша задача – устроить новую власть, которой бы все доверяли и которая сумела бы возвеличить нашу матушку-Русь.

С этим тоже были охотно согласны.

А ведь он под «старой властью» имел только правительство, отнюдь не Государя, – а могли понять про Государя? И он не помешал.

– Так не будем же тратить время на долгие разговоры. Сейчас надо вам найти своих офицеров. Собрать разбредшихся по городу ваших товарищей. Сплотиться. Выполнять строго требования воинской дисциплины. И ждать приказаний Временного Комитета Государственной Думы. Это – единственный способ победить.

И горячей:

– Если мы не сделаем этого сегодня, то завтра, может быть, будет поздно. Только полное единение армии, народа и Государственной Думы обезпечит нашу мощь!

И покрыл всё гулкой чугунной крышей:

– Ура-а-а-а!!!

И глоток тысячи две отгаркнули «ура» действительно громовым, неуместным даже в этом зале, как его колонны не покачнулись!

Всё сошло отлично.

Однако загадка: что же случилось с офицерами?

182

В Петрограде утром (фрагменты).

* * *

После ночного ухода из Ораниенбаума главных сил пулемётных полков – там начался погром винных погребов, магазинов, лавок и беспорядочная стрельба, – на двое суток.

А пулемётные полки всю ночь пешком двигались на Петроград, прихватывая ещё и попутные гарнизоны.

* * *

В конце ночи и ещё рано утром всё громили гостиницу «Астория», осталось там и выпить, и вещами поживиться.

Итальянцы, чтоб уйти из громимой гостиницы к себе в посольство, через площадь, собрались кучкой и на палке несли большой итальянский флаг.

В отпуску в Петрограде жил в «Астории» и генерал-лейтенант Маннергейм, начальник 12-й кавалерийской дивизии. Переоделся в штатское пальто, меховую шапку, снял шпоры с сапог – и беспрепятственно вышел из гостиницы. Перешёл к промышленнику Нобелю, который его и спрятал.

В гостинице многие стёкла выбили, а отопление прекратилось.

* * *

Ещё до света у пекарен опять стали жаться хлебные хвосты.

* * *

Ночную телеграмму царя, что отставка правительства не принята, так и некому было вручить: министры не дождались, разбежались. Только утром позвонили с телеграфа Покровскому домой и ему передали.

* * *

Всю ночь и утром ещё горел Окружной суд. Проваливались потолки, с треском взбивались столбы искр. В свете зарева ярко были освещены склады Главного Артиллерийского Управления. Любители поживиться не дремали, таскали оттуда ящики, разбивали топорами. Вот ящик солдатских перчаток. Хватают их. Не лезут на руку – выбрасывают на панель.

* * *

За ночь выпались и с утра опять вываливали на улицы, собирались вооружёнными отрядами на поиски врагов революции. И освобождённые вчера уголовные – кто уже переоделся солдатом, кто обзавёлся винтовкой, – и с каждым часом всё смелей. На всём раскиде города не было им никакой преграды. Все власти сметены, все связи порваны, все законы потеряли силу. И во всём городе каждый может охранить только сам себя и ожидать нападения от каждого.

Охотников грабить – и в населении оказалось много. Но после вчерашних погромов двери и окна многих магазинов наглухо забиты досками. А в зеркальных стёклах витрин, там и здесь, – пулевые лучистые дырочки.

* * *

На Неве у Франко-Русского общества чинился крейсер «Аврора». Утром рабочие ворвались в него – и крейсер *присоединился*. Захватывали ружья, револьверы, пулемёты. Командир крейсера капитан 1 ранга Никольский и два старших офицера были выволочены на берег и убиты. Старшего лейтенанта Аграновича ранили штыком в шею.

* * *

С утра возобновились поиски городских. Врывались в дома, в квартиры, искали по доносам и без них. Убегающие по улицам ломались в запертые ворота. Ведут арестованных городских, околоточных, переодевшихся в штатское, – кто в извозничьем армяке, кто в каракулевом жилете, кто и вовсе не переодевался, а в чёрной шинели своей, с оранжевым жгутом. Кого привыкли видеть важными, строгими – идут растерянные, испуганные, с кровоподтёками, в царапинах, побитые.

Вот – старый, широкошей, шинели надеть не дали. Баба кричит: «Насрать ему в глаза!»

Ведут с избытком радостного конвоя, человек по пять на одного, винтовку кто на ремне, кто на плечо, кто на изготовку, а ещё кто-нибудь самый ярый – впереди с обнажённой шашкой, и отводит прохожих. И мальчишки с палками.

Из толпы – враждебные крики.

Волокли за ноги по снегу связанного городского. Кто-то подскочил и выстрелом кончил его.

* * *

Какие полицейские участки ещё не были сожжены вчера – те горели теперь. В костре перед участком горят стулья, горят бумаги, пламя подхватывает их вверх. Через разбитые окна выбрасывают ещё новые бумаги, а кто-то длинной палкой размешивает их в огне. Из толпы кто глазее, кто греется, приплясывают мальчишки, хлопая на себе пустыми рукавами материнских куртеек, весёлая возня.

Из домов, соседних с пожарами, невольные беженцы с пожитками кочуют в другие дома. Только у таких и беда.

* * *

Ещё костры – около квартир полицейских приставов сжигают выброшенную утварь, мебель.

На Моховой из окна пристава грохнули на мостовую рояль, а тут доколачивали прикладами.

Оратор, стоя на ящике, просит товарищей военных не бросать в костёр патроны, они ещё понадобятся в борьбе с контрреволюцией. Но уж как начали забаву – оторваться нельзя, и все бросают. Патроны взрываются с треском и заглушают оратора.

* * *

Что пошло в красное: и большие полотнища, и разорванные полоски. И комические носовые красные платки с белыми каёмками. Цепляют красное на шапки (тогда кокарда), на грудь, на рукав, на штык, на саблю, на палку (тогда флаг), вяжут на шею, на плечо. Банты, бутоньерки, репейники, ленты.

Штатский – ещё может пробираться без красного, и то стыдят, но военный, похожий на офицера, – никак. Офицеру вообще опасно появляться на улице.

* * *

Везде – весёлое гулянье. Какие только есть в Петрограде солдаты, 160 тысяч, – кажется, все здесь. И обыватель весь! Солдаты целуются с народом – публика плачет. И никто не молчит – но все говорят, но кричат, но беснуются радостно!

А восполняя медленность человеческих тел – во все стороны бешено носятся грузовики и легковые автомобили. Грузовики переполнены вооружёнными: рабочие, солдаты, матросы, студент в экстазе, а то и барышня, а то и офицер с крупным красным. Человек по тридцать впритыску, и ото всех торчат штыки – через борта и вверх, и ещё на подножках стоят с винтовками. И ещё торчат из кузовов кровавые флаги, по три и по четыре. А на некоторых – пулемёты. А то, опершись на кабину, какой-то дурак целится вперёд из револьвера.

Носятся и носятся гигантские ежи из штыков, фыркая и визжа, обгоняя друг друга и разминаясь при встречах, и нагуживая тревогу, и заворачивая, и заворачивая со скрежетом, – вакханалия больших ежей! Невиданные моторные силы вырвались из подземного рабства – и резвятся, и неистовствуют, обещая ещё многое, многое показать.

* * *

Да везде много, безцельно стреляют, везде ходить опасно. Стреляют из озорства. И чтобы дать выход нервному возбуждению. Довольно одному солдату нечаянно нажать курок, как перепалка охватывает целый квартал. Есть раненные шальными пулями в хлебных хвостах. Стреляют в воздух в виде салютов. И – «довольно, повоевали!» И – в землю из револьвера, под ноги проходим. Стрельба до помешательства. Только слышно, как пули везде летают, многие рикошетом от стен, с непривычки ничего не понять, прячутся от пуль за тумбами объявлений. От непонятных близких выстрелов все взвинчены. Толпа в любую минуту мечется от восторга к страху и ненависти.

Все уверяют и уверены, что это городовые: попрятались по чердакам и перебираются с крыши на крышу неуловимо, оттого всякий раз стрельба с нового места. Все тревожно поглядывают вверх на чердачные окна каждого большого дома. Стоит кому-нибудь указать вверх пальцем – и уже все требуют обстрела и обыска этого дома.

* * *

Шёл офицер в полной форме и без красного. Чернь загнала его с улицы на лестницу дома – и там застрелила, забрызгав стены кровью и мозгами.

И эта же толпа – этих же офицеров в июле Четырнадцатого несла на руках по улицам!.. А ведь та самая война и продолжается.

В толпе человек перестаёт быть самим собой, и каждый перестаёт думать трезво. Чувства, крики, жесты – перенимаются, повторяются, как огонь. Кажется: толпа никому не подчиняется? – а легко идёт за вожаком. Но и сам вожак вне себя и может не сознавать себя вожаком, а держится – на одном порыве, две минуты, и растворяется вослед, уже никто. Лишь уголовник, лишь природный убийца, лишь заряженный мстостью – ведёт устойчиво, это – его стихия!

* * *

С 10 часов утра по всему городу развозят в грузовиках кипами, раздают и сверху разбрасывают 1-й номер «Известий Совета Рабочих Депутатов» за вчерашнее число – напечатали

его, наверно, сотни тысяч. Остановится грузовик, трепеща корпусом, – и к нему тянутся руки, и сверху бросают пуки и отдельные листы, и гонятся за ними, рвут из рук, подхватывают со снега. И потом по улицам все читают единственную эту газету. А там всего-то – воззвание СРД, вымученное литературной комиссией.

Несравненно меньше пошёл машинописный, со стеклографа, текст первого возвания Временного Комитета Государственной Думы: что создаётся такой и взял ответственность, – читали его студенты вслух, тоже с автомобилями.

* * *

По Садовой едет автомобиль и объявляет, что следом за ним идут три новых присоединившихся батальона. Дикий энтузиазм, крики! По краям панели становятся ждать. Но батальоны что-то не идут.

* * *

Во многих казармах расстроилось питание. Солдаты бродят по улицам уже и с тоской – ищут, чего бы где поесть.

Так вот ходят целый день, многие и без оружия, с пустыми руками. То готовы – ещё чего-нибудь отчебучить, а то робеют: чего наделали? Ещё и в казармы ли пустят назад, а ну опять будут *вольные* выгонять.

* * *

Вышел Ваня Редченков за казарменные ворота, осмелился. И сразу видит: стоит пустой грузовик, а подле него вертится совсем пьяный матрос. На шнурке через плечо у него шашка без ножен, в руках револьвер. Увидел Ваню, обрадовался, закричал, зазвал:

– Товарищ! Р-р-р-р-р! – рукой показывает, как мотор заводят. – Р-р-р-р-р?

– Я не шофер, – обмялся Ваня. – Я вообще тут человек новый, не знаю.

Матрос и слушать не хочет, своё показывает, дёргается, уже гневен:

– Р-р-р-р-р!..

Но тут шнурок у него оборвался, и сабля зазвякала по льду мостовой. Кинулся он за саблями – а Ваня в ворота убёг.

* * *

*Выходи, простой народ!
Раскидали всех господ!
Со свободы стали пьяны,
Заиграли в фортепьяны!*

Расчёты в головке Балтийского флота.

Морские декабристы, может быть, и опоздали к событиям, но сами события стали делать работу за них, сами события развивались преотлично, великолепно, потрясающе: вялые, нерешительные думцы сумели-таки составить из себя временное правительство! – решились! И не побоялись сообщить об этом факте в Ставку: пусть Полковник узнает о событиях, как они пошли наконец без его участия!

Ставка пока молчит, растеряна. А морской Генеральный штаб из Питера сообщил сюда, в штаб Балтийского, что вся столица в руках восставших. И по тону можно понять, что и морской министр сочувствует им. (Григорович – дипломат: им всегда довольны и в Царском и в Таврическом.)

Острые сообщения приходили среди ночи – и вице-адмирал Непенин позвал к себе князя Черкасского ночью же. Уже подготовленное единомыслие направляло адмирала – не выжидать дальнейшего развития событий, не выигрывать на оттяжках, не таить своих взглядов и своей позиции, – но смело, открыто занять её. Открытость соответствовала прямоте непенинского характера, а ещё при таких событиях – долгожданных, но и внезапных – стать с ними вровень! Он более всего ценил свои прямодушные отношения с флотом, за что должны были любить его все команды. Он любил сделать крупный жест – и не брать его обратно.

И он приказал объявить командам о волнениях в Петрограде, о подозрении некоторых прежних лиц в измене – и о создании нового правительства.

Впрочем, не успели ещё приказ разослать на корабли для объявления, как из Петрограда пришли какие-то исправочные сведения, что созданное думцами не есть новое правительство, а лишь некий неопределённый комитет. Пришлось изменять и текст объявления командам.

Зато Непенин пожелал сам объехать бригаду дредноутов и бригаду линкоров и сам же прочесть свой приказ. Он дорожил вот этим единством с матросами, какое возникает от присутствия, от вида, от голоса, дороже и влиятельней, чем отвлечённые строчки приказа усилить боевую готовность, – чтоб неприятель, получивший преувеличенные сведения о наших беспорядках, не попытался бы использовать их. Адмирал Непенин умел выступать перед матросами с манерой грубоватой простоты, которая покоряла их.

После этого знаменательного объезда кораблей, когда он сам возвестил своим матросам наступление новой эпохи, Непенин собрал на штабном «Кречете» флагманов (и князь Черкасский, и Ренгартен по своим штабным должностям присутствовали) и энергично заявил им, что так как ни из Ставки, ни от морского министра не имеет никаких указаний, то будет поступать, как сам найдёт нужным. А точка зрения его – невмешательство в революцию. (Говорилось «невмешательство», а это и значило – помочь ей в критический момент.)

Некоторые из флагманов и были празднично настроены от революции, совершаемой во спасение родины. Другие, во всяком случае, не возразили. И те, кто были круто против, – не решились тоже. Тут сидели и старше Непенина возрастом. Но – знаниями, способностями, блистательной решимостью он ярко опережал их, и это признавалось.

Флагманы соглашались.

Но трое декабристов на устроенном и сегодня закрытом собеседовании всё же сомневались: так ли всё ясно? И достаточно ли верно шагает Адриан?

Черкасский спросил:

– А если начнётся на судах? – что будешь, Федя, делать?

Но почему могло начаться на судах, если руководство флотом открыто сочувствовало революции?

Нет, ну всё же. Гипотетически.

Федя Довконт простодушно ответил:

– Буду поддерживать новый режим.

Черкасский оттенил:

– То есть пойдёшь и примкнёшь к бунтовщикам? Это неправильно, Федя. Пойти в толпу – легко, но было бы довольно непроизводительно погибнуть там от пули какого-нибудь типа, «соблюдающего присягу». Нельзя быть уверенным, что матросская масса так сразу вся и полно поймёт революционные задачи и сразу освободится от черносотенных типов. Нет, надо иметь более продуманный план.

Это верно, среди народной толпы всегда толкуются черносотенные типы – и затемняют всю обстановку, не знаешь, какого поворота ждать.

Нет, надо вести себя так, чтобы приносить наибольшую пользу всему делу. Более продуманный план – это верное влияние на верхах. Стали его формулировать.

Надо быть готовыми к тому, что Ставка и царь прикажут флоту поддерживать старый порядок. Тогда Адриан станет перед дилеммой – и задача нашего кружка не дать совершиться этому реакционному наклону. Наша задача – сделать всё, чтобы решение адмирала шло к спасению России, хотя бы и наперекор приказаниям сверху!

Или другой случай: приказание сверху на подавление не поступит, но начнётся всё-таки само по себе волнение на кораблях или в Гельсингфорсе, или в Ревеле, возникнут манифестации сочувствия к революции – и адмиралу опять достанется единолично решать: помешать волнениям? или даже военной силой не дать им помешать? Мы должны склонять его ко второму.

В обоих случаях главная задача кружка – влиять на Непенина в правильном направлении: не подчиняться приказам царя! И не мешать революционным манифестациям! Более того: чтоб о таком решении адмирала было открыто сообщено командам кораблей и открыто донесено в Ставку. Впрочем, прямой характер Непенина – порукой тому.

И решили: сейчас же идти к Командующему по одному, от младшего к старшему, и решительно высказывать ему все эти взгляды. Даже каждый пусть лично добавит, что вразрез нашим собственным убеждениям – мы не выполним и *его* приказа! И чем бы ни кончился первый разговор – на смену идёт второй, и затем третий.

Кроме того, Ренгартен взял на себя обработку каперанга Щастного, а Черкасский – каперанга Кедрова, их позиция влиятельна, и надо их привлечь.

ДОКУМЕНТЫ – 3

Всем Главнокомандующим фронтами

Балтийским и Черноморским флотами

28 февраля 1917

Временный Комитет Государственной Думы, взявший в свои руки создание нормальных условий жизни и управления в столице, приглашает Действующую Армию и Флот сохранить полное спокойствие и питает полную уверенность, что общее дело борьбы

против внешнего врага ни на минуту не будет прервано или ослаблено...

Временный Комитет при содействии столичных войск и частей и при сочувствии населения в ближайшее время водворит спокойствие в тылу и восстановит правильную деятельность...

Председатель Временного Комитета
Родзянко

184

Императрица без поддержки. – Ехать? не ехать?

Мозг императрицы и всегда работал по ночам, она и в ровные дни часто ждала сна до трёх, а то и четырёх часов ночи, – так когда уж там она заснула сегодня? А поднялась рано, предписанья врачей лежать с утра перестали быть законом, события звали к необычным действиям и решениям.

Но всегда прежде, при отлучке Ники в Ставку, у неё были проверенные приёмы действий: узнать у Друга правильное решение, затем встречаться с министрами, внушать им эти действия и длинными письмами Государю повторять ту же работу.

А вот наступили события, превосходящие по грозности всё предыдущее, – но не жил уже Друг, и ни одного министра нельзя было вызвать, потеряны все связи, – и письма Государю писать было некуда, и ещё неизвестно, что мог принести его приезд сюда будущей ночью: через кого же он будет повелевать событиями?

Государыня была полна самой мужской решимости и готова к самым мужественным действиям – и тут-то ощутила, что не может без мужской руки и поддержки, – а не было такого человека рядом во всей её свите, все старшие генералы и полковники были лишь подчинённые её, а поддерживающей руки – не было.

Нет, была! – флигель-адъютант Саблин, не просто флигель-адъютант, но «совсем наш» (как установили когда-то вместе с Другом), «один из двух честных друзей» (первая – Аня), часть всех нас, почти член императорской семьи и одинаково на всё смотрящий, тёплое сердце, добрый взгляд, делил все радости и горести, спутник по лучшим дням яхтенных поездок, спутник Государя в Ставке, правда молод, но государыня руководила им все годы. Сам он неженат, без близких и друзей, и всегда говорил, что никто ему не ближе царской семьи.

Но вот, в Петрограде рядом, где же он был вчера весь день? отчего не примчался, когда увидел разворот событий? Государыня ждала его до позднего вечера, а он вовсе не появился. Это вызывало изумление: что такое непреодолимое могло ему помешать?

Сегодня рано утром она вошла в красную гостиную, где ночевала Лили Ден, ещё не вставшая, – и просила её тотчас звонить Саблину, узнать, отчего не едет.

И Лили дозвонилась быстро, и Саблин оказался дома, и Лили передала ему, как государыня нуждается в его поддержке и ждёт, – но Саблин отвечал, что весь дом окружён пожарами, и улицы бдительно охраняются восставшими матросами – и нет возможности ему приехать.

Во флигель-адъютантской форме? Но он мог бы пройти в штатском? Отказ был ошеломляющий. У государыни усилилась нездоровая краснота лица, она приложила руку к своему расширенному сердцу и держала так. Кто угодно мог так отвильнуть! – но не родной Саблин!

Тем временем, пользуясь непрерывавшейся службою телефона, Лили успела позвонить и к себе домой, поговорила с няней, узнала про сына, и ещё позвонила нескольким знакомым – и собирала сведения, что они знают о событиях, видят вокруг себя. Все сведения были ужасны:

город – погиб, никаких старых властей нет, никто не знает и о верных войсках, – но уже знают, что Родзянко в Думе объявил создание Временного Комитета, управляющего событиями.

Это последнее как раз понравилось государыне: значит, в последнюю минуту Дума оценила опасность, вызванную ею же самой, и очнулась. Ведь уже есть и какой-то комитет социалистов-революционеров, не признающий Думы. Так в грозные часы мятежа и хаоса даже эти думские типы были более своими, с ними всё же можно разговаривать каким-то человеческим языком. Флигель-адъютант Линевиц, посланный к Родзянке, ещё не возвратился. И – как его встретит Родзянко?

От больных детей всё скрывали, они не знали, что творится. Дети и досейчас не знали, что с вечера всё качается на острие: уезжать им или не уезжать. Несколько раз за бессонную ночь государыня склонялась то в ту, то в другую сторону.

Покусывая губы, она ходила теперь по комнатам, то к больным, то от них.

Она любила ответственность и всегда любила свои определительные суждения, свои безошибочные решения, – но сегодня этой ответственности оказалось слишком много с неё! Если больны были бы только дочери и Аня, не сын, – она, может быть, решилась бы ехать. Но как riskовать наследником, обмётанным сыпью, в жаре, с кашлем, с больными глазами, – как можно riskовать этой сгущённой надеждой династии и России?

Может быть, и эта болезнь детей на благо, кто знает Божью волю? Может быть, их болезнь – спасение: что нельзя покуситься на них?

Никогда так тяжело не ощущала она, что можно и *не знать*, погоняемой минутами, какое решение правильное и неправильное, вот утекало между пальцами! Вот сейчас – она спросила бы Государя и мужа и без спора бы поступила, как он велит, но именно сейчас он в пути, и связь прервалась.

И куда срываться ехать, если он следующей ночью приедет сам?

Странно другое: что с позавчерашнего позднего вечера и вчера целый день она бомбардировала его отчаянными телеграммами – а он, так отзывчивый на каждое её слово, – не отзывался, что слышит её тревогу.

Но впрочем, конница из Новгорода (идёт? уже подходит?) – это и был его лучший ответ.

Не предполагая, как рано государыня бодрствовала, лишь в 10 часов утра попросили у неё приёма Бенкендорф с генералом Гротеном.

Их городские сведения были: ночной звонок генерала Хабалова из Зимнего дворца и тяжёлое положение верных войск. А доклад их был: что по указаниям Воейкова они ещё с вечера, не докладывая государыне, вели подготовку её собственного поезда – и сейчас всё готово к погрузке и к отъезду, если она прикажет!

О-о! Снова и мучительно требовали от неё этого решения!

Нет! Окончательно – нет! Это губительно для детей. (И сколько б ещё хлопот эвакуировать капризную Аню со всей её докторской свитой.) Они будут ждать здесь приезда Государя. Всего осталось уже меньше суток.

Но – преодолела брезгливость. И поручила Бенкендорфу телефониовать Родзянке, напомнить ему о болезни наследника и просить о защите императорской семьи.

В Царском Селе было уже беспокойно. Целыми отрядами и одиночками появлялись офицеры и солдаты, бежавшие из революционного Петрограда, – рота волынцев, смешанная группа из Петроградского полка, – но и в здешних полках они не находили приюта и маршировали дальше, в Гатчину. Запасные батальоны императорских стрелков – каково! – уже тоже волновались, от их казарм слышались выстрелы, а то музыка и песни. Говорили, что есть стычки между разными, желающими и не желающими бунтовать. Говорили, что появились из Петрограда революционные автомобили. (Правда, передал во дворец в успокоение комендант Царского Села, что царскосельская артиллерия не имеет снарядов. Каково?? И это – успокоение? Да – *чего* же мы боимся?)

Вернулся Бенкендорф от телефона. Родзянко ничего не обещал, а передал всего лишь: «Когда в доме пожар – то больных выносят в первую очередь».

О Боже, как безжалостно! какие страшные слова! Призрак того же решения – срывать больных – наступал опять.

Комендант Гротен, видя мучительные колебания императрицы, предложил: в усиление Конвоя и Сводного полка ввести во дворец также и Гвардейский экипаж.

Императрица просияла и тотчас согласилась. Изю всех гвардейских, любимых и подшефных частей императорской семьи – Гвардейский экипаж был самым любимым, в сердце близким всей семье.

Младшие здоровые дочери, услышав, что вводят экипаж, ликовали: «Это будет совсем как на яхте! Уютно!»

Тут доложилась императрице граф Апраксин, начальник её канцелярии. Он пробрался из Петрограда в штатском, без придворных регалий. Картины безумной столицы стояли перед его глазами, и тем поразительней было ему, что здесь, во дворце, как будто ничего не изменилось. И с напором он взялся убедить государыню в растущей опасности, которая может нахлынуть в любую минуту сюда. Он несомненно считал: срочно уезжать, и вот куда: в Новгород!

По усталому красноватому лицу императрицы, от многих болезней и всегда старше своих лет, а за эти дни ещё порезавшему, – при слове «Новгород» прошла осветка. На это и рассчитывал Апраксин:

– Именно в Новгород, который так предан династии, Ваше Величество! Где-то должно открыться такое чистое место, куда соберутся верные люди, откуда начнётся сопротивление. И уж во всяком случае там будут в безопасности августейшие дети. Это стоит того, чтобы рискнуть перевозить и больных!

Просветилась улыбка славного воспоминания на удлинённом твёрдом лице императрицы, твёрдая, как все её улыбки. Но уже в улыбке было и отрицание. Она уверенно покачала головой.

Граф не представляет, как опасно перевозить больных в таком состоянии. Но в этом нет уже и необходимости: сам древний Новгород идёт к нам сюда, на выручку.

Но – как дожить до этой выручки? и до приезда императора?

Государыня ходила по комнате, растравленная сомнениями. Ей нужна была мужская поддержка, не подчинённые лица, – сейчас, сию минуту! Она не выдерживала больше бремени решений – не только ведь за семью и за свой дворец, но и за Петроград, оставленный на неё!

И – почему же не шёл, ничем не проявился, не дал о себе знать, не запросил приказаний тут же в Царском Селе сидящий Павел? Старший из великих князей! Старший из генерал-адъютантов! Так ли уязвлён долголетней семейной обидой? Так ли отвержен царским запретом после убийства Друга?

Уже несколько дней шло молчаливое соревнование самолюбий – императрицы и Павла – кто первый уступит?..

Но ведь он же – инспектор гвардии! но ведь он – даже обязан! Если гвардия не подчиняется ему – пусть едет на фронт и оттуда привозит верных.

Поделилась с Лили – и та подала золотую мысль: а может быть великий князь Павел Александрович не смеет нарушить этикет? просто не смеет первый обратиться?

Ах вот как? Так это открывало возможность императрице обратиться первой, это слагало запрет:

– Лили, милочка, позвоните великому князю от моего имени и скажите, что я прошу его немедленно прибыть сюда, во дворец.

Но не успело полегчать от этого решения, ещё не было ответа от Павла – была половина двенадцатого, – снова пришёл комендант Гротен и доложил: с железной дороги передали, что через два часа все пути будут отрезаны и прекратится всякое движение.

Два часа! – так если даже и решиться ехать, то уже и не успеть собраться!
Петля стягивалась!
Как – решиться? Как верно?

185

Разгром самокатного батальона. – Смерть Балкашина.

В самокатном батальоне ночь прошла – посланные в штаб Округа разведчики не вернулись. И никого другого с приказаньями не прислал штаб Округа от себя. А телефон со вчерашнего вечера не работал.

Так ничего и не узнал полковник Балкашин: что же происходит в городе? И что правильное он должен делать? Всё рухнуло, как внезапный обвал: вчера утром он поднимался начинать обычный учебный день батальона – и вот ввергся в осаду неожиданным неизвестным противником, неподготовленный, неснабжённый и без единого приказа, как и на войне бывает редко.

Ночью была у него мысль: пока толпы разошлись – выйти боевым строем и идти в центр города. Помех бы не было никаких, все мятежники спали. Но не имел он права оставить большое боевое хозяйство батальона, всё техническое снаряжение, – разокрадут, уже начали с гаражей на Сердобольской.

Не доносилось признаков, чтобы в городе шли бои, сопротивление лояльных войск. Но ещё трудней было представить: как же полуторастотысячный гарнизон мог сразу впасть в обморок и в безсилие?

Так и оставил Балкашин своих самокатчиков на месте.

Рано утром была слышна сильная стрельба от их склада на Сердобольской. Но не послал подкрепления: всё же там оборонялись в каменном здании, а здесь – деревянные бараки, деревянный забор, вообще никакая защита.

Распорядился рыть по малому периметру окопы в мёрзлой земле. Но не хватало ломов и кирок.

А тем временем на Сампсоньевском проспекте снова начали собираться толпы вооружённых рабочих и солдат – и очень злые.

Потом к ним подъехали два броневедомости – страшное оружие в уличном бою! – и навели пулемёты на бараки самокатчиков. И стояли так.

Бросаться на них штурмом – будут потери.

Да не начинать же самим.

А тут подошёл и третий броневедомость.

Эх, не ушли ночью!

Кричали – сдаваться.

Самокатчики молчали.

И тогда – те стали бить из пулемётов.

И – нечем было закрыться! – беззащитные мишени, в любой точке ожидающие пуль. В каждом бараке появлялись раненые и убитые.

Зато и свои шесть пулемётов отвечали в окна и в щели, тоже неприкрытые, привлекая на себя огонь. Начальник пулемётной команды капитан Карамышев и сам стрелял, и кого-то посек.

И перевязывать раненых нечем было, ни к какому бою здесь никогда не готовились, и эвакуировать некуда. Так лежали – и домучивались.

И всё же простоял батальон на такой перестрелке. Мятежники замолчали. Стихло.

Один из ротных командиров склонял полковника Балкашина сдаться. Балкашин пристыдил его.

Толпа подступила – и начала валить забор. И часть свалила. И сваленный забор в двух местах подожгли.

Сердце сжималось за бедных самокатчиков. Но противно всяким воинским правилам было бы – сдаться дикой толпе. Балкашин обходил бараки и уговаривал роты держаться.

Тем временем подожгли и крайние бараки. Пришлось покинуть их и собираться в средние.

И тут, это уже было после полудня, к осаждающим подкатили два трёхдюймовых орудия. Приняли боевое положение – и стали прямой наводкой разносить бараки, пробивая бреши, зажигая стены! – хуже, чем фронт, там сидят в земле. Рушились потолки, нары, сундучки с солдатским имуществом, – казармы перестали быть укрытием, и уцелевшие выскакивали во двор, кидались за снежные кучи, иные бросали винтовки.

И тогда полковник Балкашин прибег к последней попытке: стал строить учебную команду, перед ней оркестр – чтобы удивить, пройти головой, а за ней остальные.

Но их секли картечью и пулями, не давали приготовиться к броску, самокатчики разбежались.

Да и куда пробиваться? – ведь Сампсоньевский надолго-надолго весь запружен толпою.

Тогда Балкашин поднятою рукой показал своим во дворе, что сейчас всё уладит. И, ни с кем из офицеров больше не обмениваясь, один вышел за ворота.

Его неожиданное появление вызвало остановку стрельбы. Несколько раз прежде раненый георгиевский кавалер и тут поднял руку, призывая ко вниманию, и густым командным голосом объявил:

– Слушайте все! Солдаты-самокатчики не виноваты, не стреляйте в них! Приказ обороняться отдал им я, исполняя долг присяги. А теперь отдаю...

Спихнулись. Раздался нестройный залп, кто раньше, позже, – полковник упал мёртвый.

И ещё кинулись его дотыкать штыками, ножами.

А толпа ринулась мимо – в ворота, особенно убивать офицеров, кого увидят. И избивая солдат.

Некоторые успели бежать через заснеженные огороды.

Горело во многих местах, клубился дым.

Самокатчики выходили сдаваться с поднятыми руками.

Их били.

186

Состояние Шингарёва. – Лейб-гренадеры в Таврическом. – Речи Родзянки и Милюкова. – Шингарёв идёт в продовольственную комиссию.

Вот чудо – произошла!! И до того мгновенно, что не могло вместиться ни в какую голову: гнетущая трёхсотлетняя власть отпала с такой лёгкостью, будто её и вовсе не было! Ещё вчера вечером нельзя было понять всего значения. А сегодня утром проснулись и узнали, что революция уже везде победила – сама собой, неслышно, как может выпасть ночной снег, всё царственно украшая. Конечно, вся остальная Россия ещё лежала во тьме и неясности – но вот уже адмирал Непенин телеграфировал из Гельсингфорса, что весь Балтийский флот присоединяется к революции.

Такая безкровность победы! – невероятный праздник! Что-что, но сопротивление царского режима всегда ожидалось долгими смертными боями. От неожиданности победы Шин-

гарёв ощущал в душе и радостное свечение, но и тревожное разрежение. Настолько хорошо, что уже и тревожно, что уже и быть не может так. Сегодня утром у Винавера собрался на завтрак кадетский ЦК и обсуждали: как бы революцию – примедлить.

И многие члены Думы пребывали в этой душевной взлохмаченности. Слонялись по Таврическому – нет, пробивались локтями по своим привычным помещениям – в робости, растерянности, непонятном состоянии, когда не знаешь, как себя вести.

Сколько раз в костюмной тройке, крахмале и галстуке пересекал Шингарёв этот обычно пустынный Екатерининский зал, иногда с подбавкою разряженной публики с хор, проходил, всегда привязанный сердцем к нуждам огромного, прямо не видимого, обобщённого народа, о котором были и все мысли, и все речи, – а никогда не грезилось, что этот народ и сам явится в Таврический дворец – несколькими тысячами, десятком тысяч. Безконечно умиляло это доверие, с которым солдаты, отбившиеся от частей, приходили именно в Государственную Думу, наслышанные о ней, веря в неё, храм свободного слова, под кров её и защиту. Ведь для многих из них, не петроградских, этот город был темнее дремучего леса, а вот нашли ж они себе здесь верный огонёк и убежище.

А сколько наивности прекрасной было вот в этом приходе в Думу с оркестром, чтобы здесь послушать подбодряющие речи! Лейб-гренадеры вошли прямо сюда, в Екатерининский зал, и тут перестроились. Родзянко встал на кресло, ещё тяжелей и крепче себя, и гаркнул над головами приветствие.

И ему отрявкнули «здравия желаем» лейб-гренадеры с силой, какая в этом зале не раздавалась от сводного потёмкинского оркестра после взятия Измаила.

– Спасибо вам, – гремел Родзянко, – что вы пришли помочь нам восстановить порядок, нарушенный нераспорядительностью старых властей! Государственная Дума образовала Комитет, чтобы вывести нашу славную родину на стезю победы и обезпечить ей славное будущее... Православные воины! Слушайте ваших офицеров, они вас дурному не научат. Господа офицеры, приведшие вас сюда, во всём согласны с членами Государственной Думы.

Откуда он это взял? У некоторых офицеров был вид, что пришли на казнь, – опущенная голова, невидящие глаза.

– Прошу вас спокойно разойтись по казармам. Ещё раз – спасибо вам за то, что вы явились сюда! Да здравствует Святая Русь! За матушку-Русь – ура-а!

Охотно подхватили и раскатили «ура». И Родзянко осторожно слез с кресла.

А вслед на то же кресло не без труда забрался Милюков, тоже не слишком привыкший к таким упражнениям. Начал даже без обращения, не найдя ли его. Куда, голос его был не тот, да ещё для такой толпы. Павел Николаевич никогда в жизни не выступал перед простым народом, а только перед аудиториями академическими и парламентскими. Однако он топорщил усы решительно и поглядывал довольно смело на солдатский строй. И голосом прихрипшим настаивал:

– После того как власть выпала из рук наших врагов, её нужно взять в наши собственные руки. И это надо сделать немедленно, сегодня. Что же нужно сделать сегодня? – докторально спрашивал Милюков. – Для этого мы должны быть прежде всего организованными, едиными и подчинёнными единой власти.

Неразборчивым проплыванием его слова миновали строй. Ах, не умел он говорить в такой момент! Знал Шингарёв, как звучит его собственный голос, несравнимо убеждая всех ещё прежде слов. Кажется, дай говорить, он сейчас собрал бы сердечным касанием сочувствие всех солдат Петрограда и убедил бы их во всём, что нужно! Но он не был член Думского Комитета, да и в кадетской партии существовало довольно строгое чиноподчинение и разделение обязанностей.

– Такой властью является Временный Комитет Государственной Думы. Нужно подчиняться ему, а никакой другой власти! – очень настаивал перед солдатами строгий барин в крах-

мальном воротничке и очках. – Ибо двоевластие опасно и грозит нам распылением и раздроблением сил.

Задумался Шингарёв: почему он грозил «двоевластием»? Если имел в виду трон – так двоевластие была пока единственная возможность для Комитета. А если имел в виду разбродных революционеров, митинговавших тут же, в Таврическом, – так они не набирались на власть.

Павел Николаевич совсем избегал слова «революция» и не напоминал об идущей войне с Германией (чтоб не потерять аудиторию на первом же шаге?). Его скучная полоса доводов тянулась скучным голосом, и не пробивалась короткая ясность:

– Помните, единственное условие нашей силы – организованность! Неорганизованная толпа не представляет силы. Надо сегодня же организовать. У кого нет – сами найдите и станьте под команду своих офицеров, которые состоят под командой Государственной Думы. Помните, что враг не дремлет.

И только под конец через месиво повторений пробилось:

– И готовится стереть нас с вами с лица земли. – В ободрение солдат или в ободрение самого себя спросил: – Так этого – не будет?

– Не будет, – розно и неуверенно закричали ему.

Да и солдаты ощущали странность этой радости, этой победы: она была как будто безгранична, а совсем не было в ней полноты.

Гренадеры шумно поворачивались и шаркали, начиная освобождать место какому-то другому пришедшему батальону.

Шингарёв подошёл к Милюкову. Павел Николаевич моргал, кажется недовольный собою, выражение кислое. Он был в сбитом состоянии: сегодня рано утром выступал неуспешно перед солдатами на Охте. Но у него хватало нервной энергии перерабатывать в себе неприятности.

Принято было между ними, что Шингарёв, второй человек в думской фракции кадетов, всегда советуется с Милюковым, чем ему заняться. Раз прогнали слепую безумную власть – то надо же кому-то и садиться работать вместо неё. И вполне оказался готов, когда Милюков сказал озабоченно:

– Андрей Иванович, там эти поворотливые из Совета рабочих депутатов уже учредили свою продовольственную комиссию. Так они и всё продовольствие могут сейчас захватить – а это питающая жила. Надо отстоять там наши позиции. Знаете, пока что, пока прояснится ситуация – а идите вы от нас к ним туда заседать, да попробуйте стать и председателем, ведь вы же толковей их всех. И вы же из кадетов – наиболее в курсе.

И Шингарёв – согласился. Он незаметно для себя за последние месяцы действительно втянулся в дискуссию о хлебе. Получалось – да, ему в эту комиссию и идти. Пока утвердится кадетская власть – и Шингарёв сможет достойно заняться своей парламентской специальностью, на которой годы руку набивал, – финансами.

Как всегда у них предполагалось, Шингарёв будет министром финансов.

187

Николай Иудович медлит с отъездом. – Телеграфные ответы Хабалова.

Ожидаемый спаситель родины и трона генерал Николай Иудович Иванов мало поспал в эту ночь, – уж как начнутся заботы, не поспишь. Проснулся же по обыкновению рано. А утром-то – лучшие и мысли! Как мог он начинать ехать к Петрограду и вести доверенные ему войска, не разобравшись толком в этой путаной петроградской обстановке? Ясно, что надо прежде получить самые полные разъяснения. И лучше всего это сделать, вызвавши Хабалова

к прямому телеграфному проводу, и предложить ответить на главные вопросы. Которых, стал Иудович набирать, сидя в вагоне на своём любимом мягком диване за столиком, набралось десять.

С этими вопросами он к восьми утра уже был в генерал-квартирмейстерской части (между тем обдумывая и свою докладную Алексееву насчёт возложенного диктаторства, как от него уклониться, и поручение адъютанту закупить сейчас же в Могилёве провизию, которой тут много, для петербургских знакомых генерала).

Запросили Петроград. Из помещения Главного Штаба ответили, что генерал Хабалов находится в Адмиралтействе, выход его оттуда может вызвать арест на улице революционерами. Но пока есть отвод прямого провода на Адмиралтейство, соединим.

(Вот так положение в столице! И – куда же ехать?..)

Ну хорошо, пусть ответит хотя бы через доверенное лицо. Передали им десять вопросов.

Поднялся уже и Алексеев. И представил ему Николай Иудович на своём генерал-адъютантском бланке, что в минувшую ночь, около трёх часов пополудни, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть доложить начальнику штаба Верховного для поставления в известность председателя Совета министров о том, что все министры должны безпрекословно исполнять все требования генерал-адъютанта Иванова. Если достоверность этих полномочий требует проверки через сношение с царским поездом – генерал Иванов готов был ждать.

Такой проверки быть сейчас не могло. Но и столь важного распоряжения не мог Алексеев подтвердить по словесной передаче. А уведомил генерала, что распорядился придать ему по пути ещё артиллерию, даже и тяжёлую.

Иванов же напомнил, что войск у него мало, и надо бы добавить с Юго-Западного фронта гвардию.

За пределами того Алексеев никак уже Иванова с выездом не торопил, больше не вмешивался.

А задача Николая Иудовича была двойственная: чтоб если придётся обороняться – то было бы войск побольше; а если сражаться не придётся (как уже сдавалось по петроградской обстановке), то было бы их поменьше и подошли б они как можно несвоевременней: тогда меньше придётся перед новым правительством отвечать за всю эту поездку.

И он не настаивал перед начальником военных перевозок и не в принудительной форме телеграфировал Рузскому на Северный фронт и Эверту на Западный насчёт точных сроков доставки всех этих пехотных и кавалерийских полков, а только назначал, что будет не сегодня, а завтра с утра ждать на станции Царское Село. Какие-то из этих полков ещё и с места не трогались, какие-то уже были в эшелонах, третьи готовились к погрузке на отправных станциях, – ох, с такою массою войск его миссия не могла кончиться благополучно! Во всяком случае, прямо в Петроград ни одной части он не назначал, а только – не доезжая.

Между тем георгиевский батальон, светлорыжие погоны с ленточкой посередине, у многих по 3 и 4 георгиевских креста, – во главе с генералом Пожарским был уже вполне готов к движению, хотя тоже, кажется, без большого пыла. Пожарский был совсем не тот доблестный князь на Красной площади, и не поджарый, но толстый и сильно недовольный поездкой, как видно.

Сам же генерал-адъютант со своим вагоном пока не ехал с ними, но оставался ещё осмотреться, подумать, да и дожидаться ответов Хабалова.

В двенадцатом часу дня пришёл и ответ Хабалова на десять вопросов.

Итак: какие части в порядке и какие безобразят? Названы немногие в распоряжении Хабалова, прочие перешли на сторону революционеров или по соглашению с ними нейтральны. Какие вокзалы охраняются? Все во власти революционеров.

Ничего себе, хорошее начало...

В каких частях города поддерживается порядок? Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.

Так тогда – с какой же стороны в город можно вступить?..

Все ли министерства правильно функционируют? Хабалов предполагает, что уже – ни одно.

Много ли оружия в руках бунтовщиков? Все артиллерийские заведения у них. Какие военные власти в вашем распоряжении? Один начальник штаба.

Ну-у-у-у... При таких ответах правильное решение генерал-адъютанта Иванова было бы – вообще не ехать.

Но у генерала бывает порой столько же свободы, сколько у солдата.

И оставалось – тянуть свой вагон вослед георгиевскому батальону.

188

Капитуляция хабаловского отряда.

Военный министр Беляев всю эту ночь совсем не был в тягость Хабалову: не вмешался ни одним приказанием, не подал ни одного совета. Всё действовал провод в Ставку и сохранялась линия дворцового телефона – и он сидел там, около них, принимал сообщения и отправлял сообщения, и наводил справки.

Близ полудня появился адъютант морского министра и от имени своего шефа потребовал немедленно очистить Адмиралтейство, так как в противном случае восставшие обещали через 20 минут открыть огонь с Петропавловской крепости, и над ней действительно появился красный флаг.

Вот так... И с этим известием тоже Григорович пришёл не сам. Да давно он хотел их изгнать, но не решался от своего имени, а тут рад был поводу.

И вот пришёлся тот толчок, без которого они не могли выйти из мертвительного окостенения. А ультиматум и короткий срок – толкали командование что-то решать.

А что ж было решать? Переходить ещё раз – было некуда, разве опять в градоначальство? Но вряд ли за чем. Совещание старших, как и были тут, в комнате (про Беляева забыли), да и то спешное: ведь дано всего 20 минут.

Все оказались единого мнения: что продолжать оборону невозможно. Но и уходить с оружием – тоже нельзя: если выйдем с оружием – толпа нападёт, наши станут отвечать. Значит, надо сложить оружие здесь, в Адмиралтействе, сдать его тут на хранение, выйти безоружными, – и на такие войска толпа не будет нападать.

Прямо сдать? Некому, таких войск нет. А просто – разойтись безоружными, по казармам, по квартирам.

И по гулким длинным строгим залам Адмиралтейства и по дворам – понеслись команды. Артиллерия стаскивала в кучу орудийные замки. Пулемёты и винтовки сбрасывались в большую комнату, указанную смотрителем здания.

И все – испытывали облегчение: как-то кончилось, и кончилось без единого выстрела, хорошо.

Кроме полковника Потехина на костылях, он гневался, да может ещё двоих-троих.

Все спешили расходиться, разъезжаться. (Прошло и несколько раз по 20 минут, Петропавловка не стреляла.)

Через ворота на Дворцовую площадь выезжала батарея, к себе в Павловск. За воротами сразу налепилось к ним девиц и молодых людей, вязали красные лоскутки к орудиям, к зарядным ящикам, к упряжи лошадей.

В разных кучках на улицах раздавалось «ура» и пальба в воздух.
Измайловцы вышли налегке и пели: «Взвейтесь, соколы, орлами!»

Одни стрелки не захотели сдать оружие и вышли с винтовками. Их тем более не трогал никто.

А последнюю полицию градоначальник Балк распустил ещё раньше утром, сейчас бы ей не выйти невредимой.

В суматохе не заметили, куда ж исчезли генералы Беляев и Занкевич.

А от оставшихся генералов и высших чинов смотритель здания потребовал освободить все занимаемые комнаты и перейти на 3-й этаж в чайную.

Там, с окнами на Сенатскую площадь, был большой обзор.

И обзор для размышлений, если бы кто оказался склонен к ним.

Высшие чины расселись и глушили голод папиросами.

Затем опасность случайных пуль (какие-то щёлкали то о стены, то близко о крышу) заставляла их перейти в комнату с окнами во внутренний двор.

Хабалов, освобождённый от своей непомерной тяжести, теперь расхаживал и обдумывал.

Он думал так: в лицо его никто из петроградских деятелей не знает, фотография никогда не печаталась. И вот если б его задержали отдельно от штаба – можно было бы заявить себя казачьим генералом в отпуску.

189

Верность генерала Алексеева. Укрепление посланных войск. – Проблема контроля над железными дорогами. Кисляков.

С неотклонимостью военной привычки, раз поняв и приняв приказ, генерал Алексеев дальше честно развивал его, сколько он требовал по своей логике. Отдавши с вечера первые распоряжения об отправке войск на Петроград, Алексеев не успокоился и ночью. Проводив Государя, он лёг с досадою спать, но спать почти не мог. Мысленно соединял в голове все посылаемые войска – и увидел, что в них недостаёт артиллерии.

В два часа ночи он поднялся, оделся. Его помощники все спали, хорошо, он так и любил, сам пошёл в аппаратную. И продиктовал телеграмму на Северный фронт и на Западный о посылке каждым фронтом ещё по одной конной и по одной пехей батарее, не забыв добавить и о порядке присылки снарядов.

А начиналась каждая телеграмма: «Государь император повелел...» Момент был серьёзный, и мало ли какое противодействие возникнет там при исполнении, а против Государя императора не поспоришь. Для того он и нужен был здесь, в Ставке, и обидно было, что уехал, и пока не хотелось в том признаваться даже Главнокомандующим.

Тут подали Алексею в тех же минутах пришедшую телеграмму от военного министра к дворцовому коменданту. Такая форма была, когда хотели подать прямо вниманию Государя. Такие телеграммы обычно шли мимо Алексеева, но сейчас Воейков был уже на вокзале, и нельзя было телеграммы не прочесть. Она была короткая, но поразительная: мятежники заняли уже и Мариинский дворец, а министры одни успели спастись, о других сведений нет.

Так правительства уже и не было вовсе! Пока шли переговоры, подавать ли ему в отставку или нет, а его уже не было вовсе...

Ну и ну.

А может, и к лучшему. Может, так установится общественное министерство, и никаких военных действий вовсе не придётся... Лучше бы.

Отправил и эту вдогонку Воейкову на вокзал. Может быть, Государь ещё одумается и вернётся.

И долго-долго больной Алексеев ещё лежал, вздрёмывал, а не спал – и что-то стало его разбирать беспокойство за Москву: трудно представить все последствия, если это перекинется ещё и на Москву. И он снова поднялся, снова оделся, снова пошёл в аппаратную – когда уже что-то задумано, то кажется, и на час страшно отложить. И перед четырьмя часами утра отправил телеграмму командующему Московским округом генералу Мрозовскому, запрашивая о настроениях в Москве и предоставляя, именем Государя, полномочие объявить Москву на осадном положении в любую минуту. Особенно он обращал внимание на московский железнодорожный узел, от которого зависело движение хлеба на фронты и во многие губернии.

Это уж было последнее в ночь. Устал и заснул на несколько часов.

А на пробуждение после восьми утра пришло ему: заверение от Эверта, что назначенные полки начинают в полдень погрузку; и мрачная краткая от Хабалова, что верных почти не осталось и положение до чрезвычайности...

Тут пришёл к Алексееву адмирал из морского штаба и показал ему две телеграммы из Адмиралтейства, одна лежала с ночи, но все спали, а вторая пришла утром. В утренней сообщалось, что мятежники заняли уже весь город, Хабалов засел в Адмиралтействе как в последнем редуте, и это послужит только бесполезному истреблению драгоценных документов и приборов.

Совсем плохо. Стал Алексеев давать ещё новые телеграммы о подкреплении Иванова. С Северного фронта – ещё батальон Выборгской крепостной артиллерии. Если посылаемым войскам придётся вести бой против целого большого города, то не обойтись им без крепкой артиллерии.

Набрано было много. Но Иванов-то, Иванов не годился.

Однако Государь повелел так.

А сам уехал.

Иванов же – не торопился ехать, а сроки были – уже его дело.

Но где-то же там сидел ещё и военный министр! И Алексеев обязан был телеграфировать ему новое устное высочайшее повеление: изыскать все способы передать всем министрам (где бы они ни находились и составляют ли они правительство), что они обязаны будут безпрекословно выполнять все требования главнокомандующего Петроградским округом генерал-адъютанта Иванова.

И морской же министр там! И он тоже должен быть предварён содействовать и даже подчиниться Иванову. И, думая за Григоровича, дал ему Алексеев телеграмму: по требованию Иванова, выделить ему два прочных батальона Кронштадтской крепостной артиллерии.

Так и посылал телеграммы, придумывая, чуть не каждые пять минут, пока действовал провод с Адмиралтейством.

Григорович – ничего не ответил. А Беляев – был цел и не дремал, не покидал поста! Нельзя было такого предвидеть, когда его назначали военным министром за одно знание иностранных языков. И теперь успевал отстукивать свои телеграммы. Вразмин пришла от него такая: войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников, нормальная жизнь министерств прекратилась, Покровский и Кригер-Войновский едва выбрались ночью из Мариинского дворца. Желательно прибытие надёжной вооружённой силы, иначе мятеж будет увеличиваться...

Да-а-а... Только увеличивался сумрачный груз и сознание неполноты сделанного. Хмурый, пригорбленный, походил Алексеев между столами – и, уже после отъезда Иванова, решился на крупное добавление: как тот просил, послать на Петроград войска также и с Юго-Западного фронта. Да не какие-нибудь полки, а три гвардейских, и среди них – сам Преображенский. А быть может ещё придётся готовить и гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Дал такую телеграмму Брусилову.

Ну, кажется теперь будет даже слишком достаточно.

Худо поступил Государь, покинув Ставку и уехав в такие часы. Но отчасти генералу Алексею стало и свободнее: не надо бегать суетливо с каждой телеграммой, докладывать, уговаривать, можно сидеть за рабочим столом и принимать решения.

А с другой стороны, как ни мало распоряжался здесь Государь в качестве Верховного Главнокомандующего, но, по напряжению таких событий, было бы легче ощущать его сень. Как ложу винтовки нужно плотно прилегающее плечо, чтоб не так отдавать.

Да что это? Уже 9 часов, как литерные, императорские поезда в пути, – и не пришло ни одно подтверждение с дороги. (Их присылал только Воейков, а начальники станций не имели права сообщать.) Государь не просто уехал – но уехал без связи! Только можно приблизительно расчётом выбрать станцию. А приди что ещё срочней – как снестись?

Между тем частными путями притекали из Петрограда и худшие сведения: что офицеров и чинов полиции убивают, многие здания в пожарах, арестован Председатель Государственного Совета!

Но в противоречие с этим прислал телеграмму Председатель Думы, что власть перешла к Временному Комитету Государственной Думы. Так это совсем неплохо, и теперь можно надеяться на восстановление порядка.

Даже Ставка не успевала осваивать новости – что ж могли знать Главнокомандующие фронтами? Алексеев поручил составить для них подробную сводку всех петроградских событий этих дней и после полудня отослал, сопроводив таким заключением:

«На всех нас лёг священный долг перед Государем и родиной сохранить верность присяге в войсках действующих армий».

Лишь бы не дрогнула армия и сохранились пути подвоза, петроградский мятеж не труд осилить.

Пути подвоза... Алексеев запросил телеграммой этого отчаянного Беляева, кажется единственного теперь деятеля в Петрограде: где же всё-таки находится министр путей сообщения Кригер-Войновский, которому удалось скрыться из Мариинского дворца? – может ли его министерство управлять сетью железных дорог?

И Беляев не замедлил узнать и меньше чем через час исправно ответил, что министр путей сообщения скрывается на чужой частной квартире и выполнять своих функций не может.

Но для такого случая могла пригодиться созданная Гурко при Ставке должность помощника министра путей сообщения на театре военных действий: власть надо всей железнодорожной сетью теперь может безотлагательно перейти к нему.

Таковым состоял при Ставке генерал Кисляков. До сих пор его пост был как-то мало замечен, Алексеев с ним и дела не имел. Но теперь он становился самой центральной фигурой. И Алексеев написал ему распоряжение, что немедленно принимает через него на себя управление всеми железными дорогами страны.

Тем более настоятельно, что в снабжении Юго-Западного из-за мятежей последнее время значительные перебои.

Это было в половине первого дня. Кажется, к середине дня генерал Алексеев принял все возможные меры для остановки мятежа, – не мог придумать, чего он ещё не сделал.

Ещё, пожалуй, телеграмму всем командующим округами: чрезвычайно оградить железнодорожных служащих узловых станций, мастерских и депо от посягновений внести к ним смуту извне. И чтобы все они были обеспечены продовольствием.

Но тут явился с докладом генерал Кисляков, прежде видимый только в офицерской штабной столовой, – грузный, жирный, с широким бледным лицом, а молодой. Длинно и волнуясь, он стал излагать разные железнодорожные подробности, в большом объёме, а с тем смыс-

лом, что до сих пор он руководил прифронтовыми железными дорогами лишь в техническом отношении, а никак не в хозяйственно-административном, каковое управление, будучи внезапно перенесено в Ставку, может вызвать большие затруднения в планомерной работе всей сети дорог. Сейчас, пока ещё не выявились достаточные признаки, что нарушено центральное управление железными дорогами, такой административный перенос был бы крайне неосмотрителен и вреден. Это – в том, что касается прифронтовых железных дорог. В отношении же всей сети Империи генерал Кисляков даже затрудняется подвергнуть такую проблему предварительному обсуждению – настолько она для него недоступна.

Он семенил, рыжий, длинными складными фразами, а взгляд его при этом был косо спущен по перекивленному лицу.

Ведь вот бывают фамилии до того оправданные, как прилепленные: Кисляков. Кисло-затхлым безнадежным запахом так и пахло на Алексева от этого рыхлого человека. И столько месяцев сидел на посту – не видели.

А без него – Алексеев тем более не мог бы враз осуществлять совсем незнакомое ему управление.

Что же делать? Придётся эту меру задержать. Посмотреть, как железные дороги будут функционировать сами, без министерства.

А ещё вспомнилось: большая доля снабжения в руках Земгора. Так что Ставка совсем не так неуязвима.

190

Инженер Бубликов захватывает министерство путей сообщения. – Министр Кригер-Войновский.

Сословие инженеров путей сообщения в России грозило талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской молодёжи – привлекательностью своей работы и высокими приёмными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли. Пять лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика. Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников, умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда, и имеющих возможность каждую работу подчинённого достойно оплатить. В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе насущном, мог всё время и силы отдавать этой разнообразной работе, всё в гранях новых задач. Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный бесплатный проезд давали им широкий обзор своей страны, а также и Европы. И обычно железнодорожным подлинным инженерам никогда не оставалось времени не то что на общественные дела, но даже на семейные.

Александр же Александрович Бубликов никогда не помещался в жизненном амплуа инженера путей сообщения. Никакая работа на действующей дороге или на постройке новой никак его не насыщала. Уж он и переливался в общую экономику, был вызываем работать в разных комиссиях при министерстве, формировать общие вопросы, – нет, не то, недостаточно! Наконец он догадался баллотироваться в Государственную Думу и в 1912 был избран в неё от Пермской губернии, где занимался железнодорожными изысканиями. И уж так вознадеялся! – но и тут осталось томиться втуне его страсти к действию: в Думе состояло десятка два главных говорунов, от кадетской партии более, чем от других, и они занимали четыре пятых всего думского времени, – да и это разве было действие? А остальным полагалось молчать, голосовать,

можно работать в комиссиях. Сознавал в себе Бубликов какой-то особенно мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. А вот уж ему – 42 года.

Да и фамилия у него была юмористическая, мешала серьёзному политическому амплуа.

Бубликов принадлежал, конечно, к русской интеллигенции, из своего происхождения не вырвешься, но по сути глубоко отличался от её основного типа. Основной тип русского интеллигента утонул в морали, в рассуждениях, что хорошо, что плохо, способен рыдать и жертвовать, – но уже экономики дичится, а управлять государством и совсем неспособен. А Бубликов – именно силу управления в себе отчётливо чувствовал, однако железные дороги были для него слишком узки, а вся Россия в целом не давалась.

Но от вчерашнего грома сразу сердце застучало, что пришёл его миг! И он кинулся воодушевлять депутатов открыть громовое же заседание Думы! Однако трусливая депутатская толпа не посмела. А слушать их вялую болтовню в Полуциркульном – можно было заболеть, – когда уже тысячные массы двигались по городу и где-то зрела туча реакции! Бубликов метался туда и сюда по взбудораженному ройному Таврическому, остро приглядываясь и нервно потирая руки. События катились необычайны – и необычайно же, энергично и коротковременно должно найтись деловое решение. Но самые простые решения трудней всего приходят в голову. Вот нужное ключевое не приходило, и события катились, как им вздумается.

И так Бубликов ночевал в Таврическом, как и все, и всё явней видел, что над революцией не встанет руководящая личность и она беззащитна против подавления. Так и есть! – с утра пришёл слух об экспедиции генерала Иванова на Петроград.

Ка-тилось! И – задавят? Что делать? что делать? А думские вожди болтали, болтались, ничего серьёзного не предпринимая. А силы подавления – вся Действующая армия, они несравненны с петроградским гарнизоном.

А вся Россия, со всем её порохом либеральной интеллигенции и взрывоготовной учащейся молодёжи, – дремала, замеченная снегами, и ничего не знала о событиях в Петрограде.

И тут Бубликову открылась искомая гениально простая идея! – именно только железно-дорожнику она и могла открыться. Пассивная крестьянско-мещанская Россия и не имеет никакого значения, активная же Россия вся стянута к нервам железных дорог, это государство в государстве. Все железные дороги – до Владивостока, до Туркестана, имеют единую телеграфную связь, самую живую, а центр её – в министерстве путей сообщения. Эта связь, как хорошо знал Бубликов, совершенно не зависит от сети министерства внутренних дел, нигде с ней не сливается и повсюду обслуживается вольномыслящими телеграфистами. Так вот: захватить этот узел связи – и открыть себе голос на всю Россию!

И он бросился искать – не Керенского, не Чхеидзе – а сразу главного, Родзянку. Нашёл его тушу, бродящую в окружении разных искателей, пытался привлечь его внимание, отвести конфиденциально, даже начинал говорить, – но тот не внял и рассеянно закруживался дальше.

Тогда Бубликов подстерёг его на возврате с речи перед полком, дышащего кузнечной грудью. И тут вклинил ему в голову мысль о захвате министерства – но великан даже испугался, зазяб огромными плечами, – да он совсем не понимал, что вообще *надо брать власть!* – а не ждать пассивно, как придут на нас царские войска. Родзянко всё ещё дышал законопослушностью. Бубликов стоял перед ним, вид среднего буржуа с холёной наружностью, только ртутной подвижностью и отличавшийся, – но этой подвижностью не мог ему передать. И – плавно утёк Родзянко.

Но чёрт возьми! – но от кого ж другого получить разрешение действовать? Рискнуть – совсем без разрешения? Это было бы в духе Бубликова. Но – в нужный момент может не хватить опоры.

А между тем, слоняясь по Таврическому меж густящегося множества незанятых людей, Бубликов присматривался, понимая, что тут-то и сошлись все нужные ему исполнители и помощники, авантюристы, только требуется их разглядеть, позвать и стянуть вокруг себя. И

он – разговарялся с одним, другим. Из первых таких пригляделся ему симпатичный и услужливый гусарский ротмистр с пышными светлыми усами. Был он один, без своих гусаров, явно свободен, явно искал встреч и разговоров и охотно всем улыбался.

– А не хотели бы вы поучаствовать в революционной операции? – спросил его Бубликов в одну из встреч в толчее.

– К вашим услугам, ротмистр Сосновский! – с весёлой готовностью отозвался тот.

Затем нашёлся свободный молодой солдат с интеллигентным, но решительным лицом – Рулевский, бывший польский социалист, а теперь социал-демократ-циммервальдист, счетовод службы сборов Северо-Западных железных дорог. Отлично! Он – тоже готов. Ещё нашёлся лохмато-кучерявый Эдуард Шмускес, то ли студент, то ли бывший, тоже искал себе горячего революционного занятия.

Силы революции складывались сами! Они томились, рвались – надо было уметь их направить!

Всё более решаясь, Бубликов раздобыл лист бумаги, перо и, примостясь в какой-то комнате, отчётливым почерком написал себе полномочия от Комитета Государственной Думы на занятие министерства путей сообщения. С этим листом пошёл искать Родзянку, нашёл, всё так же в движении, проталкивании через толпу с кем-то и куда-то, и так же в движении продолжал его уговаривать, что нельзя ничего не предпринять для защиты свободы. Родзянко рассеянно удивился: «Ну, если это так необходимо, то пойдите и займите». Оттого ли, что это была уже третья попытка, или Родзянко за минувшие часы стал мыслить смелей, – но он взял полномочия Бубликова, припластал к колонне Екатерининского зала и расписался на них. Расписался без большого интереса, скорее чтоб отмахнуться от настойчивого депутата.

Но Бубликов тут же подал ему и энергичное воззвание, тоже уже написанное им и которое он собирался распускать по телеграфу. Начиналось с того, что «я сего числа занял министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ Председателя Государственной Думы». Итак, Родзянко читал свой собственный, ему самому ещё не известный приказ. «Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, – пала!»

Тут Родзянко удивился:

– Так нельзя выражаться. Старая власть ещё...

Как? Он не понимал, что власть уже пала? *Он* не понимал? Кто же тогда? Поди с ними делай революцию!

А если и не пала – так надо ж её подтолкнуть.

– Но именно так надо написать! – живо настаивал Бубликов, всей своей революционной жилой чувствуя: пала! Сразу впечатление. И – падёт!

– Нет-нет, – бурчал Родзянко. – Как-нибудь осторожней.

– Хорошо: старая власть оказалась безсильной?

Согласился.

И ещё получил у Родзянки разрешение взять на экспедицию два грузовика – автомобили и солдаты скоплялись перед Думой в её распоряжение.

Сосновский и Шмускес бросились собирать команду, охотников набралось больше полусотни, примкнули и два прапорщика. А сам Бубликов с бумагами в кармане и без оружия вышел счастливым революционным шагом. Необычайная минута жизни! К двум грузовикам охотно увязался ещё и третий, тут же Бубликов прибрал себе бездействующий пассажирский мотор, ничьего разрешения и не требовалось. У всех солдат винтовки наискось за спинами, штыками вверх, так что, влезая в кузов, едва не кололи друг друга. Кажется, были и пьяные.

Покатили на Фонтанку и к Вознесенскому проспекту.

Оставляемый позади роящийся Таврический был только видимость. А действие вот оно: никому не известный Александр Бубликов идёт брать в собственные дерзкие руки нервный узел Империи!

А что за разгульный вид был у взбудораженных улиц! Местами пусто и стрельба, местами толпы, то кучка солдат или рабочих, спешат куда-то с винтовками уже наперевес, то едет санитарный автомобиль с ранеными и сёстрами, то громят лавку, то ведут арестованных офицеров, то такие же грузовики, как и в бубликовской колонне, и при встрече салютуют выстрелами.

Доехали до министерства – солдаты высыпались из кузовов, Шмускес и прапорщики составляли парных часовых у ворот, у главного входа, у запасных, а Сосновский и Рулевский по правую и левую руку стремительного Бубликова, отчаянного при своей благообразной внешности, и во главе ещё двух дюжин солдат, – ринулись внутрь. Бубликов не раз тут бывал, расположение знал и указывал, где надо ставить посты – на пересечении коридоров, к узлу телеграфа, к кабинетам министра, товарищей министра, – а в кабинет начальника управления железных дорог собирать всех старших чинов ведомства.

Да они уже видели, да уже там и сям испуганно убегали в двери или выглядывали, уже всюду пронёсся слух о приходе власти! Да прекрасно Бубликов чувствовал их: они конечно истомлены страхом, что с ними будет, и счастливы попасть под твёрдую власть, в определённую положения. Сейчас-сейчас, Бубликов сам объявит им грозно, что они могут продолжать работу, и они будут счастливы. А пышноусый ротмистр Сосновский тем временем становится комендантом здания, начальником охраны министерства. А гололицый солдат Рулевский – начальником телеграфной связи, – и через полчаса по паутинке проводков вдоль всех железных дорог Империи телеграфисты мирных станций, далёких и заснеженных, начнут принимать и дальше выстукивать и разносить по своей местности – слова пламенеющие, возможные только в революцию:

«Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки создание новой власти, обращается к вам от имени отечества. Страна ждёт от вас больше, чем исполнения долга, – она ждёт подвига!»

Всё так, но кто будет направлять министерство? Одного политического задора мало, надо знать и все подробности руководства. Нужно склонить или самого министра, или двух его товарищей.

Донесли Бубликову, что Кригер-Войновский на казённую квартиру при министерстве не переезжал, там – только прислуга прежнего министра Трепова. А Кригер с утра не был, вот только пришёл – и у себя в кабинете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.